

OCR Nina & Leon Dotan (04.2004)
<http://ldn-knigi.lib.ru> (ldn-knigi@narod.ru)
(наши пояснения и дополнения - шрифт меньше, курсивом)

{X} - Номера страниц соответствуют началу страницы в книге.
В оригинале сноски находятся в конце соответствующей страницы, здесь
- сразу за текстом!

МАРК СЛОНИМ

**ПО ЗОЛОТОЙ ТРОПЕ
ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ**

ПАРИЖ

1 9 2 8

Copyright by Marc Slonim 1928

Все права сохранены за автором

Пятьдесят нумерованных экземпляров этой книги, отпечатанных на бумаге альфа, в продажу не поступили.

Настоящая книга набрана и напечатана в типографии Société Nouvelle d'Éditions Franco-Slaves в Париже

Оглавление

Прогулка по Праге	7
Веселая Братислава	36
Словакия	47
Словацкая идиллия	58
Город Белой Дамы	63
Штрбске плесо	74
Замок на Ораве	81
Рождество в Важце	89
Город Яна Жижки	98
Нижнее царство	105
Казематы Шпильберга	110
Поле славы	121

По золотой тропе

{7}

ПРОГУЛКА ПО ПРАГЕ

В предвечерний час я люблю гулять по улицам Новой Праги. Не протолкаться у площади перед Пороховой Башней. Каменный лев мистра Матвея Рейсека из Простейова благодушно взирает с высоты своей пятисотлетней мудрости на суету автомобилей и прохожих, на углы улиц, где бледно загораются первые огни цветных реклам, на зеркальные окна новых домов. Беспреданно звонят трамваи, и в узкую арку Пороховой Башни ныряют вагоны с дребезжащими прицепами: на их красных стенках мелькает рука, обнажающая меч в окне золотого града — старинный герб Праги.

А рядом с Башней, там, где пять веков назад был королевский двор, любимое жилище Вацлава IV и Владислава Ягеллона — замысловатая архитектура Общественного Собрания. Под его крыльцом с колоннами — афиши концертов и балов; у входа в высокий, сияющий мраморной облицовкой вестибюль — одинокие фигуры юношей, ожидающих милых, но запоздавших приятельниц.

Между столиков дымного, до отказа переполненного кафе ловко шныряют лакеи с чашками, увенчанными туго взбитыми сливками, а крикливые подручные в белых куртках, с огромными деревянными подносами на {8} согнутой руке, снова и снова предлагают сдобные булки, кренделя и рогалики.

Направо — малиновые ковры ресторана; степенные лакеи, слегка наклонив голову, с карандашом и блокнотом в руке, принимают заказы важных господ с лысынами, и на подносах уже не груды пирожных, а запотевшие высокие бокалы, в которых темнеет черное или желтеет янтарем светлое пиво.

С Поржич, тех самых, где в XIV столетии селились иностранные купцы — немцы, итальянцы, греки и фламандцы — где жил епископ и строились первые храмы — рекой льет толпа светловолосых девушек с крепкими икрами и плотных, прочно слаженных студентов.

По всему Пшикопу — точно гулянье. У каждой витрины — десятки зевак. А купцы изошряются: в окнах новинки, движущиеся фигуры, световые трюки. Вывески новых кафе лоснятся свежей краской. Через два дома в третий — ресторан, кинематограф, кофейня, кондитерская. На каждом квартале, за неразберихой лесов сквозят стены спешно возводимых строений из стекла и железа.

По мозаичным тротуарам — черными, серыми и белыми камешками выложены их узоры — медленно гуляют молодые люди в выутюженных костюмах и маменькины дочери в модных платьях.

На углу Вацлавского проспекта — столичное столпотворение. Тут что ни шаг — все соблазны. С цветной афиши улыбается Мэри Пикфорд, на стене пес слушает голос хозяина, выходящий из граммофонной трубы, у стоек бара-автомата — груды бутербродов с ветчиной, горячие сосиски и заморские фрукты. За зеркальными окнами кондитерских — изобилие пышнейших тортов, снежные горы взбитых сливок, стройные ряды пирожных, завитки сдобных калачей — «ваночек» и золотистых «баб».

{9} У автоматов — каскетки, клетчатые брюки подростков рабочего

Либня, боа из крашенного кролика. В кондитерских — лоснящиеся проборы и надушенные меха. Сдержанно рокочут в ожидании хозяев зеркально черные, лакированные автомобили.

А вечерами зажгутся надписи дансингов, где завывает и томит джаз-банд, баров, в которых пахнет духами и коктейлями, электрической дрожью запляшут имена театров и отелей. Во всю длину улиц светлыми цепями повиснут фонари. Над крышей редакций пожгут прерывистые буквы новостей, телеграммы и рекламы. Задирая головы, кучки любопытных будут ждать, покамест в небе сверкнут волнующие строки об исходе футбольного матча, а потом будут обсуждать достоинства команд «Спарта» или «Славия». Из зева громкоговорителя рычащий голос будет объяснять, какой воротничок полагается к какому костюму. Слепой продавец газет у здания «Чешского Слова», высоко подняв голову, будет повторять: «вечернее издание, новая афера!» Подростки, на минуту останавливаясь у магазинов дешевой обуви Бати, кандидата в чехословацкие Форды, побегут в «Корону», «Пассаж», «Звезду» и «Светозор», где обещают новые подвиги Гарри Пиля и старую шляпу и тросточку Чарли Чаплина.

По воскресеньям здесь ходят взад и вперед, как в бальном зале, целыми семьями. За дородными мамами следуют целые выводки дочерей в новых пальто; разряженные горожане, сося трубки и сигары, с любовной гордостью взирают на асфальт мостовой, на стоянки автомобилей, на механические жесты полицейской перчатки, подчиняющей закону бег живых и стальных коней.

Если смотреть на этот растущий и застраивающийся проспект с маленькой улицы, Мустка, от которой он начинается, он кажется широким, огромным двором. Вверху, на {10} подъеме, он заканчивается многооконным, многоколонным Музеем, к которому ведут тяжелые ступени лестниц, огибающих фонтан. Купол, венчающий огромное здание, замыкает и Вацлавский проспект. А перед Музеем — св. Вацлав с боевого, крутобедрого коня следит за ростом своего города.

Прогулка неизменна: от Пороховой Башни до Музея, от Вацлавского — по улице 28 октября, вниз, к реке, до моста Легионов и Национального Театра, того самого, который в конце прошлого столетия был воздвигнут по народной подписке, сгорел, — а через три месяца новые шесть миллионов были собраны для новой постройки.

Оправдана гордая надпись внутри здания: narod — sobe. Она заставляет вспомнить, что усилия и жертвы привели к сегодняшнему завершению.

Эта уверенная в себе толпа, эти великолепные магазины, эти строящиеся дома, эта все полнее и шире развертывающаяся жизнь, — это Прага победы, пробужденная после столетий насильственного сна.

В дни национальных праздников по этим улицам идут многотысячные процессии. Над ними — древняя хоругвь гуситов, с красной чашей причастия, символом крови, на черном фоне, и бело-красный флаг государства, которое кровью, из тьмы унижения, возродила к новому бытию, и разноцветные вышитые знамена, доставшиеся в наследство от средневековых цехов, и красные полотнища рабочих союзов. Перед оркестрами музыки, легкой поступью, взявшись за руки, идут словачки в черных сапожках; ленты и ожерелья пляшут на их белых корсажах, развеваются их широкие юбки, светлеют пышные рукава; серебром и вышивками покрыты затейливые наряды мораванок — а за ними — чешские сокола в темных куртках, распахнутых над красными и

зелеными рубашками, с перьями в {11} ловких, круглых шапочках. Оркестры играют величавый гимн таборитов, и грустно поет затем медь о шумной, окровавленной Марице. Тысячи голосов, одним голосом с трубами и флейтами, повторяют песню любви и родины: «где домов мой». И стройными рядами крепко отбивает шаг этот народ, упорный и терпеливый, знающий силу дисциплины и тайну ритма массовых движений.

Сквозь рабство и бедность пронес он эту мечту о своем доме, и вот теперь он строит Новую Прагу.

Нетерпеливые патриоты хотят, чтобы как можно скорее стала она походить на другие столицы. Уже народился целый класс богачей и дельцов, выдвинувшихся за первое десятилетие чехословацкой независимости. Они спешат наверстать потерянное. Они стремятся одеваться, как англичане, вести дела, как немцы, развлекаться, как французы. Пуще всего боятся они упрека в провинциальности — и все достижения техники, все столичные выдумки желают они пересадить в Прагу. Небоскребы милее им дворцов XVII века. Пройдет несколько лет, и снесут они изящные дома с барочными украшениями на фасаде, с овальными лукарнами над оконными арками, эти строения, бывшие свидетелями и иезуитски-холодного царствования Иосифа II и постнолицемерного века Марии Терезы. Рассыпятся прахом последние приюты чужеземной знати, последние остатки австрийского владычества; подземная железная дорога побежит под шумными улицами; красные и желтые автобусы загрохочут от рабочего предместья Жижкова до самого Града; стекло и бетон оденут землю запущенных скверов и площадей. Неудержим бег молодой столицы: недаром из Америки приезжает сейчас столько ее сынов, принося с собою размах и волю к переменам и обогащению.

{12} Но своеобразие Праги, конечно, не в автобусах и асфальтовых тротуарах, не в модных лавках с парижскими вертящимися манекенами, и даже не в этом внешнем благоустройстве, которым нынешние законные хозяева стремятся вознаградить свой город за недавнее умышленное к нему пренебрежение.

Оно в том, что «*saput regni*» растет на древней земле, и все чудеса машинного века взлетают к небесам на холмах старинного города, того самого, который Пьетро Капелла в XVII столетии назвал в своих латинских стихах — *Praga dogata*. И оттого, что здесь отбушевало столько страстей и похоронено столько безумия и мудрости — это нынешнее буйство молодости с ее напористой грубостью и мускулистостью кажется не самым нужным и не самым важным.

Есть несколько Праг, прорастающих одна в другую, имеющих разные возрасты и разные территории, и даже самая недавняя, торжествующая столица республики, нерасторжимо связана с той, прежней, с многобашенным городом поражений и мужества.

В разных кварталах — наложения разнородных стилей — от готики до барокко, в строениях и памятниках отразились разные эпохи, — и все же, какое то единство встает из этого смешения, из этой архитектурной и исторической пестроты.

С необычайной пронзительностью раскрывается дух Праги — и это сосредоточенный и величавый дух трагедии. Его не могут заглушить ни веселье нарядного центра, ни песни, несущиеся из кабачков, ни звон пивных кружек в бесчисленных ресторанах, ни даже бодрый шепот тысячных толп, празднующих свою победу. Сосредоточенно развертывает Прага свиток своих мук и деяний; из всех {13} концов ее слышится мерное и суровое повествование о прошлом.

В разные часы, в разных кварталах, оно звучит каждый раз по иному.

Поздним вечером, когда умолкает суета, недобрыми тенями населяются узкие, как в Италии, улочки Старого Города. Возле Староместской площади, под островерхим Тынским собором — выщербленный камень Унгельта. Сырой стеной обнесен огромный двор, вымощенный грубым булыжником. Тесные, низкие ворота, за ними покосившиеся домики. Гулкий отзвук шагов.

Тут некогда, двенадцать веков назад, на скрещении торговых путей Востока и Запада, был выстроен этот гостинный двор. Здесь германские купцы торговались с пронырливыми венецианцами и грубыми франками; голубоглазые рослые славяне привозили сюда из Полесья меха, и мед, и ткани. Здесь араб Ибрагим бен Якуб беседовал с потомками римлян и удивлялся великолепию пражских каменных стен. Подле Унгельта происходили первые бои христиан с язычниками; у его ворот заложили первый храм Кирилл и Мефодий, и, по преданию, подземный ход вел из него к дому св. Людмилы, — той самой, что крестила св. Вацлава, будущего покровителя Чехии.

Неподалеку от гостинного двора с незапамятных времен обосновались евреи. Легенда утверждает, будто они пришли сюда тотчас же после падения Иерусалима. Но, вероятно, то были попросту выходцы из Испании. За стенами гетто начали они строить свои дома молитвы. Еще и поднесь сохранилась старая синагога с высокой, двускатной кровлей; маленький домик с черепичной крышей прислонился к ее стенам, под самыми порталами и окнами.

Здесь немало было пролито крови в дни смут, когда {14} на евреях срывал народ свой гнев. Три тысячи убитых осталось на каменных плитах гетто после погрома 1389 года. Здесь творил чудеса мудрый раввин Безалел Леви, создавший из глины подобие человека, Голема, и вдохнувший в него жизнь, написав на лбу его тайное слово. Шесть дней в неделю служил Голем своему господину, а в день субботний стирал раввин священную надпись, и бесчувственной глиной падал Голем. И только однажды позабыл это сделать Безалел Леви: придя домой из синагоги, увидел, как в субботу работает слуга и, точно объятый безумием, ломает и бьет и утварь, и мебель. И тогда проклял его создатель, навсегда стер слово жизни со лба, вмиг остывшего глиной, и в старую синагогу велел отнести недвижимый истукан. Но не умер Голем. До сих пор ходит он по ночам по улочкам еврейского квартала.

А вот и улица, бывшая заповедной чертой. Перейдя ее, к рыцарям и молодым купцам убегали смуглые девушки, а им во след неслись исступленные проклятия седобородых старцев. Здесь, борясь с духом зла, устраивавшим всяческие козни, и поддаваясь его соблазнам, возводили

новую синагогу, и грозный Иегова наказывал нерадивых строителей; от гнева пророков гасло пламя в серебряных семисвечниках, а в судный день, забыв о всём, завывало гетто в плаче и скорби, раздирая платье на впалой груди и с трепетом ожидая кары Божией.

И все страхи, и все страсти, все богатства и отлучения, псалмы кантора и рыночная перебранка — все они окончились на старом кладбище, где, по преданию, похоронены вожди Ааронова племени.

Со всех сторон окруженные беззаконием буйных трав, беспорядочно лежат надгробные камни и плиты с крючковатыми надписями, точно раскиданные гневной рукой. Весной, когда зацветает сирень меж могил, пробиваясь сквозь {15} бурьян и травы, любопытные бродят по кладбищу, на котором не хоронят вот уже третий век, — и сторбленный служака в черном сюртуке глухим голосом называет имена тех, кто стал здесь прахом.

Рядом с еврейским городом — знаменитая Староместкая площадь. Неровными полукругами замыкают ее тяжелые пилястры приземистых аркад. Под этими полутемными сводами, над которыми вытянулись узкие дома, увенчанные треугольными высокими щитами, в XV столетии бранилась торговая толпа, и, разгоня спорщиков и забияк, стража стучала железом о гулкий камень.

Все видела эта огромная, неправильной формы площадь. Точно на подмостках, прошла на этих камнях вся история Праги. По ней ходил в XIV веке Карл IV, мечтавший о том, чтобы Прага получила наследие Рима. Тогда его империя доходила до Берлина, а чешские отряды побывали в столице папской Италии. Карлов век был эпохой возрождения Праги: молодежь и ученые сходились со всех сторон в основанный Карлом университет; новые здания украшали город; для него, казалось, наступало время богатства и власти. Сбывалось любимое изречение Карла: «прошлое исправить, настоящее хорошо устроить» (*praesentia bene disponere*). Но все это длилось не долго: чума, войны, пожары и распри ожидали Прагу. Молодой Гус, учившийся в начале XV века в Праге, был свидетелем борьбы короля и архиепископа, мятежа вассалов и войны трех пап и трех императоров. В те самые годы, когда шайки куманов, языгов и татар опустошали Чехию, Ян Гус проповедывал в Вифлеемской часовне, начиная свою борьбу с папой и немцами.

На Староместской площади были казнены трое юношей, выступивших против индульгенций, и толпы народа запружали ее в бурные годы реформации, когда вслед за {16} стычками и восстаниями шли казни и расправы, когда пылкий Иероним Пражский вел на бой студентов, а католические священники с оружием в руках осаждали жилище Яна Гуса из Гусинца.

Почтенные горожане, купцы и мастера приходили сюда, чтобы потолковать о войне и обсудить городские дела. В одном углу площади бывал и торг, куда чабаны в овечьих шкурах, на заре приводили стада и куда с окрестных холмов, на дребезжащих возах приезжали крестьяне в низких шапках. Женщины в плащах, с закутанными головами, долго выбирали баранью ногу или живого ягненка. Здесь, перед лобным местом, бывшим в северной части площади, воздвигли великолепную ратушу: из ее окон, после сожжения Гуса, народ выбросил семь советников, насмехавшихся над гуситской процессией; в ней кривой Жижка, овладевший Прагой после жестоких боев, обсуждал план защиты города от королевских войск, посылая строителей возводить укрепления

на горе, которая потом стала называться Жижковой. Отсюда, нестройными, но грозными рядами уходили табориты, громыхая своими телегами, здесь Ян Желивский призывал к восстанию против умеренных и аристократов, и называл короля апокалиптическим драконом. Партия вельмож, захватив власть, во дворе ратуши тайком казнила Желивского и его друзей. Возмущенный народ, как хоругвь, понес на копье голову казненного, и с площади по всем улицам двинулась мрачная процессия.

В соседних улицах было множество бродячих собак: они прибежали слизывать кровь, которая все время проливалась на Староместском намести.

На этой площади началась тридцатилетняя война, в тот день, когда восставшие чешские дворяне из высоких окон ратуши, на камни мостовой выбросили {17} заместников императора, свергая иноземную власть. Но после трехлетней борьбы пришло поражение у Белой Горы и пришла расплата.

21-го июня 1621 года, через два века после «чешских братьев», пушечный выстрел с града возвестил о начале казни. Из тюрем, из подземелий ратуши вывели осужденных на площадь. С помоста на казнь смотрели победители, и рейтары пиками оттесняли взволнованную толпу. На лобном месте рубили головы дворянам, на виселицу вели горожан. Одному отрезали язык, другому отрубили руку. Во всех церквах звонили колокола. Двадцать семь графов, рыцарей и горожан было казнено в это утро. Одни были замучены и рассеяны, тысячи отправились в изгнание. Чешская знать была уничтожена, реформация задушена. Чешская независимость кончилась.

И уже на Староместской площади, некогда славившей чешских королей, горели костры наемников и ржали кони Валленштейна и Пикколомини; при полыхании зарева сюда врывались, убивая и грабя, немецкие ландскнехты и тирольские стрелки, и под стон набата испанские рыцари и шведские офицеры тащили с собою добычу... Осады, пленения, пожары... Опустошение войн, чужеземные солдаты, ненавистная власть...

...Сейчас, ни костров, ни набата. В одном углу площади четыре меча и двадцать семь кругов — память о казни дворян. Сбоку, перед барочными дворцами XVIII века, Ян Гус с узкой бородкой, склонив голову, скорбно смотрит с пьедестала, точно с церковной кафедры. Часовня XIV века приютилась у кирпичных стен Ратуши.

А рядом, — звонаря со знаменитыми часами: в самом конце XV века мастер Гануш потратил не мало лет на их затейливый механизм. Часы и дни, месяцы и годы, ход планет и движения созвездий, показывают огромные {18} часы, и, по преданию, правители города приказали ослепить искусного мастера, чтоб в ином месте не мог он повторить подобного чуда.

В весенние дни, когда от голубизны неба черными становятся острия Тынских башен, толпа ждет боя старинных часов. Мальчишки рассматривают круги и фигуры циферблата, знаки Рака и Козерога, приезжие удивляются средневековой учености. Но вот — звон. Раскрываются окошечки над кадраном (*Кадран - это плоская поверхность какого-либо предмета с нанесенными на этой плоскости часовыми делениями - циферблатом. ;ldn-knigi*), чередой проходят в них апостолы, благословляя сынов божиих, и труд их, и град их. Смерть, стоящая в нише, машет косою и разевает пасть, кричит петух, — и вот уже захлопнулись дверца

стародавней игрушки, застыл скелет с недвижною косою, солнце греет камень старых домов и незаметную надпись на одной из стен Тынского храма: *vanitas vanitatis, суeta суeta*. На площади светло, тихо, пусто, и только влюбленные парочки бегут мимо русской церкви св. Николая к просторам набережных.

От Старогородской площади во все стороны разбегаются улочки, переулки, извилистые ходы, над которыми из дома в дом перекинуты застекленные галереи. В одних улицах неожиданно раскрывается широкий размах романских арок, в просторных дворцах с внутренними лестницами — лоджии эпохи Возрождения. В других — дома с каменными гербами над узким зевом средневековых ворот, с готическими сводами в полутемных залах, как в том доме на Малой Площади, где в XIV веке жил флорентийский врач Анджело. Рядом, в Михальской улице, была основана Августином, земляком Анджело, первая пражская аптека. По близости жили врачи и {19} был Collegium medicum и университетский семинарий «Всех святых», основанный Карлом IV. Каждый дом сохранил еще то название, которое несколько сот лет тому назад заменяло адрес: «У зеленой жабы», «У белого единорога», «У золотого перстня».

По некоторым улочкам не проехать. Только пеший проберется через проходные дворы, где слепец, сидя на складном стуле, тянет песню, где нищие с язвами просят подаяния, где у выхода, под скорбно благостной улыбкой Богоматери, нарисованной над «Железными воротами», старик еврей пиликает на скрипке.

По ночам здесь безлюдье. Разве что у деревянных тяжелых ворот прижмутся друг к другу бездомные любовники, да из-за угла, из кабачка с дурной славой, раздастся пьяная брань. Взъерошенные коты пролезают в щели складов, крысы перебегают дорогу, от каждого шага — эхо, от зеленого света луны дома призрачны, — и все ждешь, что нежить выскользнет из древних стен. От этого железного столба с едва мерцающим фонарем отделится худая фигура в плаще. Небрежно, поправляя шпагу и едва-едва притрагиваясь к бархатному берету, незнакомец остановит горбуна в шутовском колпаке. Из сводчатого погреба «У Войеводы», того самого, где деревянные лавки у стен, а фонари из кованного железа, — высыпет пьяная ватага ландскнехтов, а за ними, крадучись, шмыгнет цыган в лохмотьях. В полуоткрытое окно, где мелькнул округлый локоть, он бросит камень с запиской, а уж за углом скрестились рапиры, и случайный прохожий, босоногий капуцин, осеняет себя испуганным крестом.

А дальше, к Клементинуму, где улицы еще темнее, еще страшнее, — безумный музыкант шепчется с алхимиком, древние старухи беседуют о черте — и все {20} персонажи романтических повествований ведут тайный разговор под водительством доктора Фауста.

Но улица сворачивает вправо — и внезапно яркий свет дуговых фонарей обращает в бегство все призраки. Овощной ряд — ночные бары, швейцары с галунами, джаз-банд из всех окон, накрашенные женщины в автомобилях, поздние гуляки, — камнем лечу из веков, как в пропасть, в столичную пьяную ночь.

Возвращаюсь к себе, на Угольный рынок, где, по преданию, был выстроен первый дом старого города. Здание, где я живу, пассаж XVIII столетия, с арками, сводами, пятью выходами и двором, в котором легко заблудиться. В этом доме Моцарт писал «Дон Жуана», и до сих пор видение командора обитает в пролетах кривых лестниц и зыбких тенях порталов.

С первым криком петуха скрываются все приведения, и даже безгласный Голем прячется за слуховым окном своего чердака. В свете утреннего солнца — все иное.

На Карловой улице, по бойкости напоминающей итальянское борго, пузатые торговцы в черных шапочках стоят у дверей лавок. Прохожие идут по мостовой, нехотя сворачивая, когда хлопает бич кучера или когда кричат мальчишки, везущие на тачках мясо, товары и мебель. Колбаса, огурцы, сосиски и всякая подозрительная снедь украшает запыленные витрины. На зеленых готических дверях закрытых складов — болты и пудовые висячие замки. Точильщик ножей и тряпичник кричат, перебивая друг друга. Неистово звонит грязный человек, за которым изможденные клячи тянут огромный фургон. Заслышав звонок, дородные хозяйки выносят ведра с мусором. На {21} углах — лари с фруктами и красными ломтями арбуза. Летом мороженщик останавливает свою тележку перед дворцом Клам-Галласа: огромные каменные гладиаторы, согнувшись, несут массивный портал пышного входа. Рядом — дом, где жил Кеплер. Дальше — улочки вокруг Клементинума. Горбом выпячены стены домов, решетки подвалов затянуты вековой паутиной, и нищие с забинтованными головами палками стучат по плитам тротуара.

Клементинум (от храма св. Клементия) растянулся на несколько кварталов. Иезуиты строили его в XVII столетии, когда по обессиленной и разоренной Праге била католическая реакция. Вместо готического храма св. Варфоломея поставили здесь церковь св. Сальватора. Рядом оборудовали иезуитскую типографию; в ней работал тот самый Антоний Кониаш, который получил печальную известность сожжением чешских книг.

Католический семинарий Клементинума превратился впоследствии в университет. Сюда переселилась часть студентов и профессоров со знаменитой Карловой площади — древнего гнезда пражской учености. Здесь прошли поколения студентов, научившихся, не смотря на все противодействия, любить родной народ и язык. Из этого огромного здания, с его многочисленными дворами, часовнями и высокими красными куполами, взлохмаченный *Бакунин* пытался руководить восстанием, вспыхнувшим после первого славянского съезда, на Духов день 1848 года. Отсюда двигались студенты к баррикаде на Целетной улице, возле Пороховой Башни, и Клементинуму грозили пушки Виндишгреца, ядрами и картечью подавившего пражское возмущение.

Перед входом в Клементинум, у набережной Влтавы — Крестовая площадь, церковь, статуи. Карл IV с пьедестала рассеянно смотрит на грузовики с пивными {22} бочками. Здесь — предел Старого Города. Дальше набережные и башни Карлова моста.

Для того, чтобы лучше увидеть панораму левого берега Праги, надо по набережным вернуться к Национальному Театру.

С моста Легионов, где на красных фонарных столбах золотые львы

в кружках лезут в небо, разевая пасти и распуская озорные хвосты, видны и Градчаны, и Малая Страна. Зеленоватая Влтава, кажущаяся необыкновенно широкой и многоводной, быстро течет в низких берегах, свергаясь с плотины у Карлова моста.

На другом берегу, на холме, уступы которого, пестрят зеленью садов и красными пятнами черепичных кровель, осел Град — дворец и крепость, и за его великолепной громадой точно втыкаются в небеса зубчатые острия и стрельчатые готические башни собора св. Вита.

Ниже, у основания обрыва — каменной глыбой — гигантское однообразное сооружение — казармы Чернина. Их окна — бойницы в крепостной стене. А затем сады, иглы башен, зеленые купола церквей — тоненькие полоски улиц, сбегаящих от Града к Малой Стране, малому городу, особенно выросшему в XVI-XVII столетиях. Среди серого камня дворцов — деревья: парк Валленштейна. Дальше сплошная зелень садов Летны, огибающих новый холм, и синяя дымка, в которой тают излучины реки.

Когда перед заходом солнца горит небо над Градом, когда на багровом фоне мрачнеют, как копья, шпили, острия и башни, — каменная гордыня соборов и крепостей кажется недосягаемо высокой. Она угрозой висит над низкорослой толпой домов у ее подножия, над беспечными, засыпающими садами, над мирной струей реки, в которой, дрожа, бегут розовые облака, — и почему то всегда вспоминаешь войны и разгромы и {23} пожар разорения, бушевавший, как этот кровавый закат. Бессильные страсти народных возмущений разбивались у стен Градчанских твердынь. Оттуда правили именем Кесаря императорские наместники и надменные сановники, и Град, владевший Прагой, приказывал всей стране. Века не прекращалась борьба, лилась кровь, и камень пражских дворцов и крепостей иссечен трагическими морщинами безумия, веры и страсти. Но о них уже начинает забывать нарядный и самоуверенный наследник.

Возле Карлова моста, на набережной, как раз у того места, где стояла императорская баня, небольшая терраса выступает над рекой, почти у самой плотины. Над скамейкой, где весной сидят сентиментальные парочки, зеленые ветви огромного дерева. Отсюда видна и левая часть реки: острова Славянский и Жофин, холмы фабричного Смихова, лесистая гора Петршин и высокая скала легендарного Вышеграда — фантастической колыбели чешского царства, столицы княжны Любуши, о которой слагались сказания и поэмы.

Когда загораются вечерние огни и трамваи светлыми бусинками перекатываются через мосты, — Град превращается в синее видение, отделяется от холма, летит к еще непогасшим облакам и потом, тяжелея, входит в ночь. Вода у плотины течет безостановочно, бесследно, как минуты и века, с мерным шелестом; пахнет влагой и весной, от Летны тянет легким запахом трав и листьев, — и вновь чудесными и таинственными становятся древние улочки за Клементинумом.

Старый Город и Малую Страну соединяет Карлов мост. Карл IV выстроил его вместо моста Юдифи, {24} названного по имени жены Владислава I.

В средние века пражане гордились им не менее, чем флорентийцы своим Понте Веккио.

Вход в него через башню, в которой в корзине были выставлены головы казненных в 1621 г. Десять лет оставались они там.

Слева от моста, из воды подымается другая башня — мельничная. Пожар уничтожил ее в XVI столетии, ее построили сызнова, при осаде шведов в 1648 году она была повреждена и через два столетия в нее попали австрийские ядра.

Карлов мост — мост легенд и паломничеств. Здесь замурован тот меч, которым св. Вацлав, в час великой опасности, отразит врагов и освободит Чехию. С XIV века твердо стоит Карлов мост — и это потому, что каменная кладка его была скреплена десятками тысяч яиц. Отсюда, по преданию, вечером 1393 г. был брошен в воду Ян Непомуценский, которого сам король за неповиновение пытал горящим факелом.

Католики украсили Карлов мост как часовню. С обеих сторон, на парапете, кресты, изваяния, фигуры святых. Горит золото распятия с еврейскими буквами, потемневшие статуи жалуются каменно. Бронза, вздетые руки, раскрашенные венки, искривленные тела — холодный пафос барочной скульптуры.

Готическая арка соединяет две сторожевые башни на конце моста. Сквозь ее проход, как в стекло панорамы, видишь новую площадь и улицы. Если не дойти до башен и спуститься по лестнице вниз, попадаешь в сонное царство пражской Венеции — в Чертовку.

Здесь медленно течет вода под железными быками моста, изгибы реки и ее мелкие рукава образуют {25} каналы, неподвижные, точно заводи. Обрушенные домики со стрельчатыми окнами, над которыми неожиданно расцветают мансарды с изгибами рококо, тесно лепятся друг к другу, вырастая прямо из каналов. У разваливающихся строений — пристройки, надстройки, голубятни, и в высокой нише одного дома, под самым треугольным фронтоном лампада с огоньком у потускневшего изображения Богородицы.

Есть домики, как в Венеции — сваями в воде, и когда отбегает волна, источенные бревна торчат темным оскалом.

На небольшой площади, На Кампе, окруженной домами XVII столетия с гербами и фресками в барочных раковинах, дважды в год под деревьями устраивается рынок глиняной посуды и деревенского фарфора. На ларях или в соломе лежат коричневые вазы с черными рисунками, как этрусские, тарелки со словацкими цветами, кувшины с яркими разводами и фарфоровые зверюшки для забавы.

Вечерами, остановившись у плоских лодок, редкие прохожие смотрят на дальние огни города. Отсюда ширью и простором гремит река, и те огни кажутся чужим миром. А летом, на плотках продают сливы и арбузы, весело перебрасываются спелыми дынями задорные полногрудые торговки.

И тут же рыцарь.

У одной из каменных свай Карлова моста стоит на узком цоколе статуя рыцаря с поднятым мечом. Узкое, женственное лицо полно

строгой силы; из под шлема выбиваются ореолом тонкие кудри. Сжат печальный, маленький рот. Как копье, вздет меч, как копье — юношески тонкое, стройное тело. Весной и меч и шлем скрыты в {26} листьях деревьев; осененный зеленью, мягче глядит рыцарь, птицы выют гнезда в стиге его локтя, не боясь острого меча.

Кто он, этот Хранитель вод? Роланд или легендарный Брунцвик, меч которого сек головы всем врагам? Или же только Сторожевой — и он оберегает реку и берега, глухую заводь каналов, и эти бедные домики с мадонной и лампадкой и красным, трепещущим в ночи огоньком.

В сумерки молодые девушки подолгу глядят на статую — и своего возлюбленного видит каждая в тонком и изменчивом лице Пражского Рыцаря.

От Чертовки, мимо садов и стен, можно переулками пройти к Велкопшеровской площади с ее величавыми дворцами XVIII века. А за углом владения мальтийских рыцарей.

Орденская церковь подчеркивает правильностью линий точные пропорции площади. Над дверью двухэтажного дома, где когда то собирались розенкрейцеры и масоны, — белый крест с раструбами, в темном камне над крестом — корона, а над ней бокал с цветами.

Площадь тиха. Не показываются на ней кавалеры со шпагами, у ворот не стучат молотком люди с бледными лицами, полными решимости и вдохновения, а вечерами не громыхают кареты, привозившие аббатов на тайные собрания братства. А по ночам уже не скачет сюда из Лилиевой улицы безглазый всадник на белом коне, в белом плаще — рыцарь храмовник, преданный за богохульство казни и проклятию.

Немного ниже мальтийского храма, площадь с низкими, точно в подвал спускающимися сводами длинной галереи. Выветрился желтый камень аркад; под {27} сводами — зеленые двери и выпцветшие ставни у подслеповатых окошечек. На грязных подоконниках хилые цветы. По утрам, вместо цветов — подушки и пудовые перины. У каждого поворота галереи старухи продают сморщенные яблоки, пыльные леденцы и пряничные сердца с голубой глазурью.

Через две улочки — Малостранская площадь.

Над широким храмом св. Николая — зеленая крыша, зеленый купол и барочная башня. С одной стороны примкнули к нему старинные здания с треугольными фронтонами и дворец с зеркальными окнами. А с другой раскрылась площадь.

Все в ней неправильно: она идет в гору, неровно; дома и дворцы окружают ее прерывистой линией; аркады и проходы образуют вокруг нее сплошную галерею. От нее во все стороны вверх, по холму, тянутся узкие улочки с домами, на которых красуются каменные знаки: тройка червей, скрипка, три колокольчика. В этом доме и были три колокольчика: в один звонили к трапезе, в другой к молитве; третий возвещал о смерти.

На Малой Стране жили графы и чародеи, честные ремесленники и грешные красавицы. На ее улицах сохранились дворы XVI и XVII столетий, с внутренними галереями, лестницами и лоджиями. О некоторых из них ходят страшные рассказы. Вон тут по ночам блуждает дух монахини: за нарушение обета целомудрия ее живой замуровали в келье монастыря, который выходил на Малостранскую площадь, и до сих

пор тоскует грешная душа, не примиренная с Богом. Вон там неверная жена вбила гвоздь в голову мужа: по ночам он стонет в заброшенном доме. За углом, в кабачке, во время мора и голода, поразившего Прагу, скучающий старый могильщик играл в карты с мертвецами, пока не пал бездыханный. Сюда {28} на своем плаще самолете прилетал доктор Китл, продавший душу дьяволу и умевший исцелять все недуги, а злых духов обращать в ворон.

А на самой Малоостранской площади стоит дом князей Лихтенштейнских: проломав крышу, вытащил из него Сатана красавицу княжну, отдавшуюся дьяволу, чтобы навеки сохранить свою красоту.

На Малой Стране пребывала знать. Сохранился еще дом «У Монтагю», в котором в XVII столетии собирались чешские дворяне заговорщики. После Белой Горы Прагу заполнили графы и князья австрийской короны, немецкой или венгерской крови. По всей Малой Стране разбросаны их дворцы XVII и XVIII века с кариатидами под великолепными порталами, с усеченными арками, над высокими окнами, со сложными рядами коринфских капителиев над пилястрами и толстыми колоннами. Гигантские орлы с хищными клювами стерегут дворец графа Туна, выстроенный итальянцами. Рядом с крыльями, распростертыми у входа, на овальных лукарнах сверкают крестом паутинные рамы.

В торжественный вход дворца Лобковица виден сад, фонтаны, лестницы, ведущие к парадным покоям.

В этих дворцах умирал итальянский Ренессанс. Еще до Белой Горы, Рудольф II, король меценат и безумец, влюбленный во флорентинку Катарину Страда, призвал в Прагу тосканцев, принесших с собой соединение грации и силы, стройные пропорции арок и умение возводить дворцы из грубых глыб необтесанного камня. За ними последовали геновцы, славившиеся искусством построения лестниц и лепкой карнизов.

Именно в Праге высокий Ренессанс медленно переходил в великолепный барокко. Нигде в Европе нет таких замечательных памятников барочной архитектуры, как на {29} этих холмах Малой Страны, где полководцы тридцатилетней войны, князья империи и австрийские придворные строили свои жилища или же прибывали свои гербы к переделанным старым дворцам. Чтобы возвести свой дворец, Валленштейн приказал снести 23 дома. Шесть лет строили итальянцы это огромное здание, отведенное теперь, как и большинство дворцов Малой Страны, под правительственные учреждения.

В двусветных залах этого дворца некогда устраивались балы и празднества. В жаркие июльские ночи в парк спускались гости. Впереди шел сам Валленштейн, с грозным лицом вояки и невыносимым взглядом черных глаз. Перед ним склоняли свои головы с шляпами в перьях старые рубаки и собутыльники — Тилле и Пиколюмини, Гаррах и Галлас. Тяжкой поступью шагал военачальник; не знало улыбки его каменное лицо, — и смолкали речи при его приближении. Но когда вглубь аллеи удалялась тень гиганта с безмолвной женой, щеголи в сапогах раструбами, в полосатых бархатных одеяниях, нашептывали дамам остроты и любезности, сжимая грубою рукой в кружевной манжете рукоять меча, почерневшего от тридцатилетней крови. Под звуки виолы, скрипки и клавесина, звеневшие из раскрытых окон, при свете масляных плашек и венецианских фонарей, мерные плясали танцы на траве лужаек, и вспыхивающие огни фейерверка на миг серебрили струи фонтана. Исполинские вензеля победно заполняли звездное небо. Из беседки на

острове смотрел Валленштейн, как в водах искусственного озера гасло золото его имени.

... А сейчас тишина и пустота в парке Валленштейна. В огромной лоджии горячатся кони на фресках, изображающих битвы и победы, и по углам суровые воители, сподвижники полководца, хранят угрюмое молчание. На {30} потолке ярятся морские чудовища и улыбаются богини, но краски поблекли и нежива розовая нагота Венеры. Стены осыпаются, на бронзе статуй паутина, пыль небрежения лежит на огромных вазах. Иссякла вода бассейна, дырявые доски закрыли фонтан, с шумом вылетают птицы из опустевших гротов. Тишиной и запустением дышит сад Валленштейна, того, кто владел Германией и Богемией, швырял золотом и армиями, опустошал земли и воздвигал царства — и пал под ударами алебарды, от руки былых соратников в опочивальне Эгерского замка.

Широкими, отлогими ступенями идет улица — лестницей к Граду. Весной со стен садов и дворов свешиваются глицинии, а осенью красные листья винограда. По ночам, когда вдали тлеющими кружками и фонарными змеями светит Прага, здесь мелькают тени, тесно прижавшись друг к другу.

Со Старой Замковой Лестницы в ясные дни открывается панорама, напоминающая флорентийскую. В светло голубое, почти пепельное небо подняты бесчисленные острия церковных колоколен, башенные копы, темные иглы высоких домов. Над скученным собранием островерхих крыш, над треугольниками кровель и украшений, возносится купол Музея, а над разлинованными кварталами скучно-буржуазных Виноград — готические взлеты собора св. Людмилы. По мостам, переброшенным через светло зеленую Влтаву ползут муравьями прохожие и заводными игрушками трамваи. И еще: темные купы островов, белая пена у плотины, маленькие лодки с полуголыми гребцами — и во весь охват взора — эта населенная, взволнованная пражская долина, которую обрамляют темно-синие, невысокие холмы Чехии.

{31} Такой предстает Прага, если смотреть на нее из амбразуры старого бастиона, у ворот в Град, где заржавевшие пушки уставили свои жерла на город. Такой видна она и из знаменитой «Златой Студнички», — с террасы, куда ход вьется по внутренним лестницам старых домов, мимо кухонь и спален с открытыми дверьми, по коридорам — чуть-чуть не по чужим квартирам. Дома тут идут уступами, один над другим, и лестница все ползет вверх и вверх. Под самым Градом — терраса «Студнички»: она прислонилась к крепостной стене, а впереди — деревья, сады, бегущие вниз. Половые с цветными салфетками под мышкой едва успевают менять кружки пива, делая карандашные отметки на картонной подставке. Сколько черточек — столько и кружек выпил добрый пражский патриот, или очарованный столицей приезжий. Те, у кого число черточек перевалило за полдюжины, на «Златой Студничке» и заканчивают свой осмотр Градчан. Другие, обладающие ясной головой и крепкими ногами, идут дальше, вверх.

На Градчанской площади, той самой, где собирались советы вассалов и князей, где чинили суд короли богемские, почти безраздельно царит Италия. «Тосканский палац» с его правильным чередованием архитектурных рядов и полукруглой аркой входов и окон, построен, на

подобие флорентийских дворцов Строцци и Медичи, из массивных глыб необтесанного камня («pietra gustica»), несколько уменьшающихся в объеме с каждым этажом.

Налево от Тосканского дворца — дворец Шварценберга, выдержанный в духе Ренессанса, с теми серо-черными или желтоватыми узорами на стенах, которые в Италии получили название «sgrafitto».

В воскресное утро из окон светло-желтого архиепископского дома XVIII века с его легкими колонками под {32} балконом кованного железа, — по всей площади разносятся тягучие звуки органа, и в садике собираются кучки слушателей.

Но прошли времена, когда Рим диктовал свою волю чешскому Кремлю. Нет австрийских орлов над железной решеткой Града. На тонких мачтах первого двора взлетают бело-красные флаги Республики. Часовые застыли в проезде, у парадных белых дверей президентского дома.

Сводчатые проходы — точно в крепости — ведут во внутренние дворы. Град несколько напоминает Ватикан в миниатюре: тяжелые стены, сотни окон, величие огромности и силы, великолепные залы с фресками и лепными потолками, где на президентских раутах свободно движется тысяча человек, парадные покои со старинной мебелью, ходы, переходы, десятки зданий и пристроек, соединенных в одно целое. Крепость и дворец, Град всегда был особым городком, вознесенным над Прагой. Кто бы ни был его хозяином — чешские короли или австрийские наместники — Град всегда был символом власти и местом, где жили правители. И сейчас в Граде — президент и различные министерства.

Традиция чешской короны возродилась в древнем пражском Кремле. Внутри Града, в сотнях его комнат, есть множество произведений искусства, великолепных гобеленов и картин, ваз и скульптурных украшений. Раскопки у его стен приносят любопытные археологические неожиданности. Но интереснее всего Град, как некое архитектурное целое, действующее своими размерами и единством, своей державностью — настоящей, идущей из века в век, и как бы запечатленной этими поколениями князей, императоров и правителей, обитавших в его стенах.

Во втором дворе, перед одним из самых замечательных готических соборов Европы — храмом св. Вита, — {33} Георгий Победоносец на вздыбленном коне бронзовым копьём поражает неистового дракона. От зубчатых, невыносимо прямых и высоких башен и шпилей собора — тень. Здесь не бывает солнца: сыро, полутемно, как в ущельи.

Внутри собора, под стрельчатыми сводами — тусклое тление лампад, старинное золото распятий, обесцвеченные лучи дня, пропущенные сквозь разноцветные витражи узких, длинных окон. Гробницы и алтари покрыты фигурами, украшениями и венками. За искусной железной решеткой — многостатуйный мавзолей Рудольфа II и королевы Анны и скульптурные медальоны чешских королей. Перед темными ликами Мадонн и святых в приделах, не мигая, стынёт огонь восковых свечей. В благолепной тишине раздаётся только легкий стук шагов по деревянной настилке, берегущей мозаику пола. Церковный сторож ведет иностранцев в капеллу св. Вацлава, чтобы показать бронзовое кольцо и драгоценности чешской короны.

Тесная улочка обегает собор св. Вита. Он сжат в ограде угрюмых домов.

В одном из них, — старая харчевня. На деревянных лавках ее закопченных зал сживали чешские поэты и писатели прошлого столетия. Здесь Неруда, живший неподалеку, в улице, носящей теперь его имя, обдумывал свои рассказы о мещанских идиллиях и горестях Малой Страны. Здесь юноши эпохи бури и, натиска, под благосклонным взглядом тучного трактирщика, клялись в дружбе друг другу и в верности родной земле. Потрескавшееся полотно картин и охотничьи трофеи на стенах внимали речам патриотов в сиреневых фраках и желтых панталонах. Ночью, разгоряченные пивом, дымом трубок и молодостью, они бродили вокруг Града, к неудовольствию австрийских часовых. Сыростью дышал ров, окружающий Градчаны. В {34} XVI веке в яме его были львы — по преданию, сюда была брошена перчатка, воспетая Шиллером.

Осенью, когда ветер свистел в сучьях градчанского парка, они вспоминали сказание о Драгомире, матери св. Вацлава: по ночам, в адском экипаже, запряженном дикими конями, ездит языческая княгиня вокруг Града и кричит страшным голосом: «быть беде».

Недалеко от собора, узкая щель между стен и домов ведет в улочку, такую узкую, что четверым не разойтись. Игрушечные домики, построенные для кукол или карликов, с оконцами в человеческую голову, прислонились к крепостной стене. Предание говорит, будто эти фантастические жилища были выстроены в эпоху Рудольфа II для алхимиков и магов, которых так жаловал коронованный друг Тихо де Браге. И называется улочка «Золотой» потому что в ней жили чародеи, знавшие секрет искусственного золота.

Предание это неверно. Но легко вообразить тайные лаборатории в этих клетушках, где седобородые звездочеты искали философский камень и жизненный эликсир и корпели над склянками и плавильнями. Они прозревали истину в синем пламени химических соединений и читали судьбы людей в сумасбродстве кометы.

И сейчас, в одном из домиков, верная традициям улицы, проживает женщина, именующая себя «madame de Thèbe». В крохотной комнатке, где едва помещается грузное тело гадалки, изгибает спину черный кот. У окна, заставленного горшками с гвоздикой, на шесте кричит облезлый попугай. На стол, покрытый выцветшим бархатом, бросает гадалка замусоленные карты и равнодушным голосом возвещает письма, дальнюю дорогу и бубновую любовь.

У самого выхода из Града над Оленьим рвом — {35} круглая башня. В ней при Владиславе Ягеллоне был якобы заключен рыцарь Далигбор, известный своими насилиями и разбоем. В каменном мешке научился он так чудесно играть на скрипке, что, слушая его, народ толпился у башни, а дочь тюремщика влюбилась в преступника. Его казнили на бастионе, над Старой Замковой Лестницей, и с тех пор зовут башню Далиборкой, а по ночам до прохожих вместе с ветром доносятся глухие стоны скрипки...

...Сумерки спускаются, опутывают Далиборку, Злату улочку, старую Прагу. Надо возвращаться домой, в город. Еще несколько шагов по другой лестнице, потом по Итальянской улице — и нет больше легенд и духов.

Трамвай звенит, дребезжит. Пивные, рестораны, кинематографы. Стены фабрик, каменные однообразные многосемейных домов, запах варева и пота, унылая ограда электрической станции — Смихов. Туда, за вокзалом — пустыри и свалки, немощеные улицы, оголенность рабочей

окраины.

За мостом, соединяющим Смихов со старым городом — Карлова площадь, клиники и больницы, студенческие кофейни, где раздаются песни словаков и мораван.

Там крепнет молодое поколение. Оно знает о трагедиях и унижениях из книг и учебников. Оно уверено в себе и своей силе. Ему дела нет до закоулков Малой Страны и ветхих писем истории. Придет день, и оно разрушит старые дворцы и стрельчатые башни ради американских универсальных магазинов и банков с несгораемыми ящиками.

И в час, когда безлюдуют древние площади и молчат дворцы и аркады, — все ярче разгораются огни у Пороховой Башни. Все новые и новые толпы притекают к Вацлавскому наместу, — и снова начинается та, другая, пражская прогулка по торжествующим улицам столицы.

ВЕСЕЛАЯ БРАТИСЛАВА

Во всяком порядочном путеводителе написано о том, что в Братиславе жили короли и папы, что здесь был Наполеон и что мир, заключенный после Аустерлица, носит немецкое имя Братиславы — пресбургского. Все это совершенно неважно. Конечно, любитель старины или ученый найдут для себя немало поживы на древних улицах города и в его архивах. Но сколько бы ни стояло памятников прошлого на братиславских площадях, — она город нисколько не исторический. В ней всегда история побеждена современностью. А башни эпохи возрождения, епископские дворцы и старинные здания только говорят прохожему: «короны и тиары вас уже не забавляют, а доброе вино веселит вас так же, как и наших современников. И самое главное — радость земли и жизни, которая пьянила и во времена Авиньонского пленения, и в дни Наполеона, и в ваши буйные годы суеты и свободы».

В кольце золотых садов, окруженная цветущими холмами, на берегу Дуная лежит Братислава, и сотни лет ведет она бойкую торговлю с Востоком и Западом. Оттого ли, что жила она всегда в достатке, от смешения ли венгров, словаков, немцев, евреев и цыган, но под этим щедрым солнцем получилась какая то особая, легкая и горячая кровь. В других городах — дух трагедий и {37} борьбы, суровое величие прошлого: а в Братиславе не видать старых ран, забыты всякие тревоги — цветной каруселью вертится жизнь — и от пестрого мелькания спиц не замечаешь ни труда, ни горя, ни усилий мысли. В ее университетах учатся студенты, великолепные дома воздвигают на ее набережных, где то читают лекции и серьезно увлекаются политикой и наукой — но это все в глубине дома, а гость увидит только нарядный фасад, прелесть изящных украшений — вновь со звоном вертится веселое колесо.

Всякий раз, приезжая в Братиславу, думаешь, что, попал в праздник.

Через узкие проходы Михальской башни, по наивному мостику над садом безостановочно льется толпа в кривые улочки старого города. Извозчикам и автомобилям запрещено проезжать здесь в полдень и перед сумерками, когда и по тротуарам и по мостовой движутся тысячи людей. Нельзя и назвать даже улицами этот асфальтовый двор с закоулками, этот сплошной пассаж, ведущий к берегу Дуная. Это место для гулянья, встреч и разговоров. Здесь ходят, не спеша, перекликаясь со знакомыми. По обеим сторонам этого бального зала — соблазнительные витрины: дамские чулки, мужские галстуки, ананасы и печенья, ожерелья и браслеты. Все блестит и сверкает, магазины великолепны, яркие фонари светят по столичному, не скажешь, что в Братиславе всего сто тысяч жителей.

Воздух обильно напоен запахами духов и плодов, которые продают тут же: в подъездах на длинных лавках груды винограда, груш, слив, шоколад, конфеты. На каждом шагу кондитерские, кофейни, магазины съестных припасов. Выставлено все для наслаждения чрева, для обольщения вещами, плодами земли, ухищреньями рук.

{38} Даже душно становится от этого земного обилия, от этой плотской тяжести.

Смуглые мадьярки, покачивая бедрами, проходят с кошачьей ленью и беспечностью. Хорошенькие подростки в коротких юбках, бросая шельмовские взгляды и выпячивая грудь, бегут в поперечные улочки. За их бойкими каблучками устремляются молодые военные в фуражках с огромными козырьками и атлетические студенты без шляп в широченных брюках. Медленно проходят изящные дамы в мехах: за ними на почтительном отдалении следуют господа с тросточками.

Из окна дома, положив подушки на подоконники, чтоб можно было опереть руки или навалиться грудью, старики с явным удовольствием взирают на этот ежедневный театр, в котором тысячи статистов разыгрывают пантомиму преследования, вожделения, беззаботности и легкомыслия.

А у Дуная — новое гулянье: по бульвару, как на параде, одна за другой прохаживаются нарядные пары. Здесь одиночество возможно лишь временное: до или после встречи. За невысокой балюстрадой — мутные волны широкой реки. Белые пароходики беспрестанно перевозят народ на другой берег, где в парках и садах зажигаются гостеприимные огни кофеен и ресторанов.

Парные экипажи, автомобили, до остервенения трубящие беспечным прохожим, едут вниз по набережной, к узкой дамбе, по которой гуляют солдаты с пышногрудыми девицами.

На холме — заброшенная крепость с впадинами пустых окон и разрушенными башнями. Под крепостной стеной — маленькие домики. Здесь мужчинам проходить опасно. У каждой подворотни женщины устрашающего вида и размеров заывают встречных, обещая им **{39}** недолгие, но крепкие объятья. Некоторые, для удобства, выносят перед домом стул и читают газету или штопают чулки, отрываясь от работы лишь тогда, когда в начале улочки покажется солдат или безусый парень. Лица их не знают ни румян, ни пудры: откровенно и естественно темнеют на них синяки и следы болезней.

Отсюда вниз, к центру, через еврейский квартал, пахнувший кожей, луком и рыбой, ведут такие горбатые улочки, с такими зияющими проходами, темными дворами и подозрительными кофейнями, что на первый взгляд каждый дом кажется вертепом или разбойничьим притоном. Но на самом деле все здесь очень мирно и семейно, и о разбойниках и в помине нет. На одной из самых страшных дверей на клочке бумаги объявляется, что «приличному еврейскому мужчине в отличной семье сдается в наем кровать» — о размерах семьи ничего не сообщается. На другой обещают обучать танцам и пенью лиц обоего пола, при условии, что они будут соблюдать приличия в танцклассе. А над третьей красуется даже вывеска частного бюро для розысков и борьбы с преступниками. Огромная синагога освящает многочисленное потомство этого квартала, с увлечением играющее в свайки и городки под ногами прохожих. А рядом с нею кресты и купола католического храма. И хоть много здесь церквей, монастырей и процессий с хоругвями, за которыми идут толпы старых женщин, — мирно уживаются в Братиславе католики и протестанты, евреи и православные. Боги здесь снисходительны и милостивы, они не требуют борьбы и жертв.

В кофейнях старого города к пяти часам нельзя достать места. В мадьярских «савегаз»'ах в это время дым коромыслом. Здесь совершаются сделки, назначаются свидания, ведутся политические споры. Венгерский {40} торговец с тупым носом, с черными, сросшимися бровями и блестящими глазами на землистом лице, ни на миг не останавливаясь, сыпет горохом, доказывая, что-то толстому, гладко выбритому немцу. Длиннобородые евреи из Карпатской Руси, насадив на головы широкополые круглые шляпы, отбрасывая полы длинных лапсердаков или пальто, на них похожих, убеждают друг друга — громкой речью, глазами, руками, — в выгоде предполагаемой сделки. Бело-розовые упитанные чехи, попивая кофе со взбитыми сливками, добросовестно перечитывают все газеты. Черноволосые словаки с лентой в умном взоре спорят по пустякам, постепенно разгораясь. Цыгане, похожие на мулатов, с неверной и льстивой улыбкой на толстых губах, играя перстнями, пронзая сокрушительным запахом духов, раздевающим взором оглядывают женщин, привычным жестом заправляя в рукава модного костюма грязные манжеты смятого белья.

Галицийские спекулянты лопочут быстро, невнятно, разгоряченно. И хлопает дверь, пропуская новых и новых женщин. Блистая зубами и глазами, вздрагивая задом, проходят венгерки, показывая маленькую ножку. Большеглазые еврейки поводят обнаженными плечами. Все они садятся за отдельный столик, быстро изучают поле действия, и после двух-трех улыбок, переброшенных с соседями, пересаживаются к ним, а через полчаса -выходят уже в чьем-нибудь сопровождении.

А по вечерам из кофейен в центре доносится веселый гул голосов и музыка. В самом большом братиславском кафе «Редуте» такое оживление, что с порога кажется, будто это бальный зал. Рядом с «Редутой» — через каждые два шага — винный погреб, ресторан, взрывы хохота, кучки шатунов, переходящих из одного заведения в другое.

В заманчивой полутьме боковых улочек какие то {41} неожиданно яркие огни, чьи то шаги, звонкий перебор струн: все чудится, что под стеной францисканского монастыря, у этих домиков, где все появляются и исчезают шепчущиеся тени, ждет забавное и чуть дурманящее приключение.

Чем дальше от центра, тем беднее и темнее улицы. Но и на них движение и говор. Пройдешь десятка два домов, спящих за толстыми ставнями — вдруг — свет, за окнами крик и скрипка. Над воротами — длинный шест, на шесте венки, «вехет». Все владельцы виноградников две недели в год имеют право у себя на дому продавать свое вино. Об этом и возвещает бахусов знак — венок на шесте, воспоминание о римских празднествах «vinalia», при сборе винограда. И как в древнюю старину веселятся жители Братиславы, попивая молодое вино под «вехетом».

В подъезде, в кухне, в жилых комнатах расставляют хозяева «вехета» некрашенные столы и скамьи. Все домашние вещи сносятся в одну комнату, остальные отведены под кратковременный кабак. Иной раз и в них приходится оставлять шкафы и зеркала, стенные часы и наспех прикрытую постель. А выцветшие портреты предков или лубочное изображение какой то необыкновенной битвы всегда висят во внутренних покоях «вехета».

К десяти часам вечера «вехеты» полны. Дочери, сыновья,

племянники, чады и домочадцы в фартуках торопливо цедают вино. В узкие высокие стаканы или пузатые графины льют из бутылей и бочечков мутное молодое вино, невинное на вкус, но предательски сковывающее ноги тех, кто выказал ему излишнее доверие. Богатые посетители пьют процеженное, чуть горьковатое токайское или терпкое красное. А знатоки прихлебывают {42} густую, как ликер, двадцатилетнюю «асу» или сладкий мускат.

От винного духа, от жары у продающих красные щеки и пьяные глаза. Они отвечают на шутки гостей, ударяют по нескромным пальцам, хохочут без причины.

За столами сидят, как попало. Посыльный «красная шапка», смакует, щелкая языком, третий стакан токайского: к его отзыву о вине внимательно прислушивается сосед — почтенный старичок — член высшего суда. Рядом двое железнодорожников разложили на засаленной бумажке тонкие ломтики венгерской колбасы. Молодая девушка запивает мускатом орехи. Усатый мадьяр кричит во всю глотку — «хара децим»: еще три десятых литра принесет ему крепко сбита словачка — все у ней ходит и переливается под тонким платьем, все новоприбывшие смотрят на нее внезапно вспыхнувшим взором: вино скоро затушит его блеск.

Мальчишки разносят печенье из кокосовых орехов. Благообразный старичок в картузе, в сереньком пиджачке с тщательно заштопанными локтями, продает шоколад и анчоусы в раскрытой коробке: в каждый анчоус воткнута зубочистка — вместо вилки.

Человек, до такой степени лысый, что шевелюра на голове тех, с кем он заговаривает, моментально делается неестественной, предлагают желающим измерить силу на электрическом приборе. Доверчивые люди хватают какие то пластинки и рукоятку, отдергивают руки и, на миг перешибив хмель электричеством, вновь переходят к пробе вина.

В одном углу играют в карты, хлопая ими так, что они от стола отскакивают. В другом политический спор со звоном разбитых стаканов. И тут же целуются над {43} опрокинутым графином, из которого каплет на пол красное вино.

Но внезапно в нестройный шум вехета врываются пронзительные звуки гармошки. Сам маэстро Бурьян, в бархатной куртке, с красными глазами белой мыши на одутловатом лице, своими трясущимися руками алкоголика играет романсы и арии из оперетки. Толстый венгр вторит ему на двойной гитаре, и цыган с узкими и темным лицом, раскачиваясь всем телом, томительно подыгрывает на скрипке. Кое кто подпевает. А когда раздается печально комическая песня о «Братиславе единой, месте услады, которой никак не забыть, в которой все пропил я вплоть до штанов» — весь вехет гремит диким и рьяным хором.

Собрав на тарелку редкие кроны и многочисленные «шестaki» (двадцать геллеров), музыканты отправляются в другой вехет: десятки их открыты каждый вечер. За ними уходит и часть посетителей. Теперь они будут странствовать из вехета в вехет, оценивая и разбирая качества разных вин, покамест останется у них способность сравнивать.

В вехете на Высокой улице преобладают студенты. Засев в маленькой комнатке, в которую никому нет входа, они на манер мессы распевают латинские стихи. Их *dulcia carmina* немало говорит о *pulchris puellis*. А если в вехете покажется профессор, ему устроят кошачий концерт, а потом поднесут кубок большого орла со смесью, приводящей к

молниеносным результатам.

В другом вехете замысловатые пируэты выделяет почтенный толстый старик с красной шеей. Он так старательно возит ногами по полу, что все смотрят на него с одобрительным вниманием, молча и сосредоточенно. Потрепанный человек с воротничком, съехавшим на сторону, {44} сидит посередине лавки и рассказывает вслух воображаемому собеседнику, что каждый вечер он посещает все вехеты своей улицы, но несмотря на всю трудность этого занятия, не гнушается и соседними. Из дальнего угла кто-то отвечает ему: но мученик долга уже не слышит его: уронив голову, он мирно похрапывает.

На самой окраине города вехеты беднее. Порою хозяева удивительно похожи на того, как дьявол черного содержателя таверны в Триане, которого звали Лиллас Пастья. И посетители ему под стать: в оборванной одежде, но с решительными жестами. Подозрительные щеголи в ярко начищенных ботинках и ослепительных галстуках над грязной рубашкой спаивают словацких румяных парней в кожухах, расшитых цветами. Накрашенные толстые женщины подсаживаются к осололевшим старикам, пудовыми руками обнимая апоплексические шеи.

В ночных кофейнях, куда после вехетных возлияний отправляются гуляки, всегда играет какой-нибудь знаменитый примаш. Точно с надрывом, умоляя и возмущаясь, ведет он оркестр смуглолицых некрасивых людей с горящими глазами — «la tribu prophétique aux prunelles ardentes», сказал о них Бодлер. Томительные и страстные звуки извлекают они из своих кимвалов, скрипок и цитр. Они играют простые и дикие песни с неожиданной, прерывистой и скачущей быстротой и таким же неожиданным, сладострастным замедлением, — точно музыка, как страсть, — должна измучить, расти до невозможного напряжения и оборваться разом, в судороге и изнеможении. Она всегда на краю, у срыва, эта музыка, от которой горячеет кровь и сухими делаются губы.

В кафе Бароша, где до зари мелькают магический палочки кимвалистов, где острые пальцы щиплют струны цитры и гитары, где смуглые, курчавые люди смотрят {45} на зал с тем выражением отчужденности и презрения, о котором когда то говорил Меримэ, — пьяные кутилы оживляют себя крепким кофе и ледяными напитками. Сюда приходит множество женщин: светловолосые немки с широким румянцем на круглых щеках; подвижные, искристые венгерки; полные, низкорослые еврейки с очень черными волосами, с очень яркими губами; апатически-атлетические чешки, наивно веселые и болтливые словачки. В три часа ночи все знакомы друг с другом, на лету заключаются несложные условия — и вот в предрассветный туман одна за другой уходят от Бароша пары для Краткой и легкой любви.

А на утро, — после того, как выполнена вся дьяволова программа — вино, песни, женщины, — наступает расплата. Голова и тело ощущают явственно, что создан человек из праха и что непрочной и хрупкой была глина творения. И разве можно доверять в бессмертие, когда похмельный пессимизм мучит праздного гуляку?.

«Душа, что вы толкуете мне о душе, которую облако может погрузить в меланхолию, а стакан вина в безумие».

Но от недолгого безумия и его плачевных осложнений исцеляет горячий суп из потрохов — drstkova polevka, которую едят от Вены до Праги.

С раннего утра ее дымящиеся тарелки уже стоят на столах маленьких ресторанчиков у базара. Суп этот горяч, густ от перца и пряностей и так зол, что неизменно потрясает человека, отягощенного смутными воспоминаниями ночи.

А в Братиславе уже начинается день. От Сенной площади, до самого центра, по улицам до площади Республики, растягивается рынок.

На рогожи, разостланные на земле, навалены картошка, кукуруза в зеленых листьях, фиолетовые баклажаны с {46} тернистыми корешками, сморщенный перец, гладкие томаты, горы капусты и огурцов, груды желтой тыквы — и даже цветы — гвоздики, розы, астры. Распустив юбки веером, сидят бабы на обочине тротуара, поставив под рукой корзину с товаром. Офени, оперев на палки свои короба с зеркалами, гребешками, запонками и всякой дрянью, ловко перехватывают нерешительные, ищущие взоры покупателей. Поодаль торгуют посудой, выложенной на соломе, деревянными ложками, школьными пеналами с грубо намалеванными цветами, грошовыми свистульками с красными и синими разводами и маленькими деревянными лошадками с наивно-удивленным выражением раскрашенных морд.

А дальше фрукты. Приторно пахнут дыни; у телег — темно-синие арбузы; возле них словачки в крутящихся юбках и мужики в шапках, хлопающие кнутами. На винограде сохранились еще капельки росы. Пылью покрыты лиловые, зрелые сливы.

Безногий человек в колясочке и слепцы с поводьрем собирают подаяния. Цыгане поспешно удаляются при виде полицейского: у него такие рыжие, вверх закрученные усы и такая свирепая рожа, что и невинный при взгляде на него почувствует себя преступником. Когда он проходит, похлопывая своей нагайкой, торговки съезживаются, и даже ярко красный размолотый перец в мешках тускнеет. Но за его спиной — крик и шутки, возня и брань.

А вечером на той же площади опять огни, зеленые венки, стон скрипки; — легкий дух вина. Опять с шумом и смехом проходят женщины и охмелевшие завсегдатаи вехетов — вновь со звоном вертится цветное колесо веселой Братиславы.

СЛОВАКИЯ

Горы, леса, речные долины, бедные села по берегам. На север и восток — Татры, отроги Карпат. На юг — венгерские равнины. Здесь некогда пустошили авары. Здесь мифический Само заложил царство, охватившее и плоскогорья Вага, и бурную Ораву, и цветущие холмы Моравии.

А с X-го века — угры, мадьяры, войны королей и распри военачальников, борьба за трон и землю — тяжелое владычество панов и рыцарей, князей и священников.

Этот народ вырос в скудости и бедности. На каменистых тропах пастухи водили чужие стада, от зари до зари, из века в век. И всегда было одно и то же: жалобная песня тростниковой дудочки, хата у черных сосен, волнистое руно овец. Там, где щедрая земля давала хлеб, а на деревьях золотились плоды, крестьяне работали на панов и магнатов, живших в замках и каменных домах. От Моравы до Карпат привык простой люд к поклону и покорности. В бедных хибарках, покрытых соломой и берестой, шла безымянная жизнь барщины и труда. Когда отпускала забота и разгибалась спина, парубки в расшитых рубашках пели песни, грустные и протяжные, как русские, и танцевали с девушками в кичках и монистах.

И сейчас, на кривых улочках сел, невеселые стоят хаты. Суровы горы, покрытые сосной и буком, {48} величественны столетние тополя на дорогах, дубы на перекрестках, и грустны полевые цветы перед статуями Мадонны.

Маленькие города похожи на большие села, убоги храмы, куда по воскресеньям идут толпой — и мужчины и женщины, и дети: крепка их вера в божью награду за нелегкий земной путь.

Конечно, есть в Словакии и большие города с каменными домами, с трамваями и фабриками. Они растут и богатеют. Но это царство немцев, венгров и евреев. Их еще надо отвоевать, эти города, на мирном состязании ума, культуры и выносливости. Может быть это и придет, потому что с каждым годом все больше овладевает Словакия самой собой — но покамест, словаки живут на городских окраинах, в деревянных домиках пригорода, тех самых, в которых дрожит такой неверный, жалкий свет, когда уезжаешь ночью из Кошиц или Жилины, и когда в темноте исчезают и станция, и огни города.

На маленьких вокзалах встречаешь порою толпу мужчин и женщин с деревянными сундуками, узлами и коробами. У них испуганные лица, они толкают друг друга, путаются и бегают, как заблудившееся стадо, на них летом зимние полушубки и тяжелые платки. Это переселенцы. Их повезут через океан в вонючих трюмах эмигрантского парохода; на бойнях Чикаго и в копиях Скрентона услышат они презрительную кличку — «эй ты, словак». На консервных фабриках и каменоломнях, там, где труд смывает румянец и загар, а лен волос делает седой мочалой, будут они клясть чужое небо и зарабатывать трудные центы. Дети тех, кто выдержит, будут носить клетчатые кепки и курить короткую трубку. А слабые вымрут, безвольные побегут обратно, в убогие избы, к неласковым полям.

От того, что их угнетали столетиями — робок и {49} темен словак.

Древней и глухой жизнью живет он в своих деревеньках и горных селениях. У него простые и быстрые радости, кладези безропотности и одинаковая судьба. У него почти нет героев. Ему нечем вспомнить прошлое, однообразное и безотрадное, как барщина на хозяйском дворе. Разве что в песнях расскажет про разбойников, некогда населявших горы.

От злости господ и притеснений правителей убежали смельчаки и отчаявшиеся в татранские дебри. Там под облаками, в лесах между озерами «горные парни» («horní chlapi») вели суровую, но вольную жизнь. Они про себя говорили, что не знают иного господина, кроме смерти и свободы («kteri pana neznajú mimo smrt a vôli»).

Двести лет тому назад, от Яворины до Моравы гулял с вольными людьми атаман Яношик, гроза богатых, надежда обиженных. Прежде, чем уйти в горы, был он бедняком, крестьянским сыном, знал нужду, ел хлеб, посоленный слезами, целовал руку пану. Когда заболела мать Яношика, ни он, ни отец его не встали на работу. За это били их батогами на панском дворе, в замке. Отец испустил дух под палками, но Яношик стиснул зубы, выдержал сто ударов. На телегу с навозом бросили мертвого отца и обеспамятевшего сына и отвезли в хату, к матери. Ночью и она умерла, а на утро в хате нашли только трупы стариков: Яношик бежал в горы.

Здесь собрал он дружину и начал творить разбойный суд над проезжими и прохожими. В сумерки, на дорогу выскакивали парни с мушкетами и останавливали кареты и повозки. Господам не было пощады, а бедного селяка отпускали с миром.

{50} Порою крестьяне жаловались Яношику на бесчинства панов и самоуправство начальников. Тайные ходоки вели Яношика по запутанным тропинкам, и ночью, для мести за обиды, появлялись из леса горные парни.

Только два года был Яношик грозой Силезии и Угорья, Татр и Моравы. В 1713 году схватили и атамана, и дружину, десять верных Яношиковых молодцов. В Липтавском Святом Микулаше пытали венгры Яношика, вырывали ему ногти, стискивали ноги в испанском башмаке, вытягивали на дыбе. А потом повесили его на крюк, загнанный под ребро, и вздернули на самый верх виселицы, на которой уже качались его товарищи. День и ночь висел он, не умирая, глядя на снеговые вершины Высоких Татр, на темные купы родных лесов. Двое суток был на крюке Яношик, и палач дал ему трубку, «дымку». Две ночи летели от нее искры во мрак, а на четвертый день, на рассвете, выпала трубка из разжавшихся зубов, перестала капать кровь из раны — умер Яношик.

...Зимой снег покрывает Татры, ветер с юга наметает сугробы у заборов, мороз росписью веселит маленькие оконца. У печи девушки прядут лен, а старик с длинной «файфкой», изогнутой трубкой во рту, рассказывает нараспев об Яношике, и об Ильчике, и об Адамчике, и о других, не пожелавших нести креста смирения, боли и неволи, который лежал на их братьях.

Через сто лет после Яношика в забытых углах Словакии появились новые борцы за вольность. Но они не были ни разбойниками, ни революционерами.

Вместо кинжала и кремневого ружья они несли с собою книгу и гусиное перо.

{51} В 20-х годах прошлого столетия появляется слабая и рассеянная словацкая интеллигенция.

Как и ее народ, она была наделена чувствительностью, ярким воображением, способностью мечтать и увлекаться. То, что было приглушено в словаках веками неволи, теперь вдруг прорвалось и раскрылось в их поэзии и литературе.

Быть может именно потому, что столь бедна и бессильна была их родина, люди 20-х—30-х г.г. с таким душевным жаром мечтали о грядущем царстве славян и славы, в котором Словацкая земля найдет свободу и возрождение, Коллар печалился, что «жадные иноземцы пьют нашу чистейшую кровь, а сыны, не верующие в славу отцов своих, гордятся рабством». Но он горячо, испуленно верил в будущее. В нем горела та же сила, которая Яношика продержала живым на крюке. «Славься, Славия, пел Коллар, имя твое сладкозвучно, а память о тебе горестна. Тяжелы были твои страдания, безжалостные враги раздирали твои внутренности, неверные сыны тебе изменяли.

Мы все имеем, поверьте мне, друзья мои, все, что должно завоевать нам почетное место среди самых славных и достойных народов человечества, — нам не хватает лишь единения и просвещения.» «Чем будем мы, славяне, через сто лет? Чем будет вся Европа? Подобно наводнению, — славянская жизнь распространится повсюду».

В убогом крае пастухов и земледельцев родилось славянофильство, и Штур, изучая Гердера и Гегеля, верил, что в мире идей и культуры «славяне начнут там, где кончат немцы».

Это пылкое славянофильство не знало жизни и не считалось с ней. Его рождало воображение, восторженная тоска молодости и предчувствие, неясное, как {52} туманный рассвет, его питали книги и философские теории. Оно еще было расплывчато и бесформенно, но постепенно молодые славянофилы обрели предмет для обожания и надежды. Конечно, это была Россия.

В предгрозе 1848 г. в словацких городках, в деревянных домиках св. Мартина или Микулаша и в университетах Пешта, Вены и Праги, словацкие патриоты спорили о свободе, которую народам Австрии и Венгрии принесет назревающая революция. На Славянском съезде в Праге Штур говорил об единстве с чехами и грядущей связи двух народов общего племени.

Но революция пришла и прошла, лишь слегка ослабив цепи. Бакунин сидел в каменном мешке Петропавловской крепости, войска Николая I усмиряли бунтующих венгров. Но это не помешало словацким интеллигентам молиться на Россию и верить в то, что русский царь принесет освобождение.

В 70-ые годы, в местечках и деревнях Словакии, тихим семейным кругом жили читатели «Нивы» и русских книг. В их прекраснодушии были не только восторженная мечтательность, но и боязнь действий и работы. Учителя, доктора, люди свободных профессий и образованные торговцы вспоминали Коллара и Штура и писали наивные стихи или сентиментальные рассказы для хилых журнальчиков. Когда они сходились, плотно прикрыв ставни, они говорили о русском царе и войне с Турцией и видели уже, как генералы, покорившие янычар, во главе непобедимой армии, проходят через Карпатские ворота. Скупно горели оплывающие свечи, и голоса колебали желтоватое пламя.

Стены пахли сосной, было тепло, тесно, уютно.

Они говорили громко и одушевленно: о русских братьях, о том, что русский орел не позволит монгольскому {53} волку загубить свою жертву. Спасение должно было придти из Петербурга.

Поэтому здесь можно было ничего не делать, и только готовиться к приходу освободителей. И покамест патриоты на берегах Вага и Оравы любовались портретами Скобелева и Гурко, мадьяры прибирали к рукам школы и банки, земли и города, а народ все так же безропотно сгибал спину и сносил побои. О его бедах разговаривали словацкие радетели, выкуривая бесчисленное, множество трубок у огня. Консерватизм и фатализм стали для них привычкой мысли. Их пугал действенный радикализм чехов и реальное направление ума их политиков и философов. Они с неодобрением относились к той борьбе, которую твердо и упорно проводило молодое поколение в Праге. Они всячески бранили социализм и наглую молодежь, потерявшую веру в Бога. Дарвинизм представлялся им нечестивым оскорблением человечества.

Они слепо любили Россию и восхищались ее мощью. Их по детски радовало и занимало все, что говорило об ее богатстве, о силе ее оружия, о пышности царского двора. Им казалось, что от сияющей короны самодержца исходят ослепительные лучи, проникающие даже в словацкое захолустье. Они сами себя чувствовали богаче и увереннее при мысли, что их старший брат так велик и силен. Как бедные родственники, они надеялись на его защиту и строили о ней самые радужные мечты.

Бывали и такие, которые хотели проверить чувство знанием, но увлечение овладевало ими, едва они приближались к своему божеству. Они не хотели и не могли критиковать России. Самодержавие представлялось им незыблемым, а русские революционеры — исчадием ада. Русское любили они без разбора: от Пушкина до городского. Писатель Янко Есенский знал наизусть чуть ли {54} не все стихотворения Пушкина, имена Толстого и Достоевского уже начали делаться близкими и дорогими, — но властители дум 90-х годов, Гурбан Войянский и Шкультеты, зачитывались Данилевским, благоговели перед гением Победоносцева и проповедовали славянофильство царско-византийского толка.

В тогдашних культурных центрах Словакии, Турчанском св. Мартине и Липтавском св. Микулаше, господствовали настроения «Нового Времени» и славянофильства в стиле Александра III и генерала Комарова.

Только на исходе века произошла перемена. Из самой России все чаще стали доходить голоса резкой критики победоносцевских теорий, самодержавной практики и официальной церковности. Влияние Толстого начало сказываться среди словацких интеллигентов. Оно вело к сомнению, беспокойству и переоценке привычных истин.

С другой стороны, словацкие студенты Праги и Будапешта, Вены и Братиславы все более сближались с чешскими. Идеи национальной борьбы и социального раскрепощения зажигали умы. Все отчетливее выяснялась необходимость действия — и непременно совместного. Даже неполитики понимали, что судьбы чехов и словаков неразрывно связаны, что у них общий враг — и общими силами, в едином движении надо вступать в бой. Проповедь Масарика, с его соединением реализма и

идеализма, с его критическим отношением к России вообще, и отрицательным к самодержавию, доходила и до Словакии. На смену выступало новое поколение, стыдившееся прекрасноты отцов и заменившее утопические надежды на помощь извне решением добиться свободы собственными усилиями, делом и борьбой.

Настоящее, деятельное словацкое движение, идущее рука об руку с чешским, начинается с этих пор. Сил было {55} несравненно меньше, чем в Чехии. И меньше средств, культуры, возможностей. Кучка интеллигентов слабыми руками пыталась строить запыленные мадьяризации, сохранить язык и национальные особенности, развивать Словакию хозяйственно и помогать своему народу — одаренному и живому, но нищему и забитому.

Была, конечно, и борьба в своей среде. Перед войной начали определяться партии, обозначались крылья движения. А во время войны снова поднялась волна слепой веры в царскую Россию: казаки были тогда символом свободы, и в деревушках на Ораве все ждали, что с горных перевалов спустятся полки и эскадроны, и русские пики и нагайки возвестят об избавлении.

Потом пришла революция, переворот, австро-венгерская монархия треснула по швам, и с неожиданностью и быстротой исполнились самые невероятные мечты: республика чехов и словаков.

Заволновалась политическая жизнь, десятки партий занялись набором сторонников и борьбой друг против друга. Началось внедрение в промышленность, торговлю, школу.

Но еще не вышла Словакия на большую дорогу. Это там, в городах «шумят витии». А в деревнях еще неизжитые навыки забитости и страха, упорный труд и скудные плоды земли, бесхитростная вера полуграмотного люда, на которой строят свою карьеру католические священники и политические честолюбцы. Здесь еще живут по дедовским обычаям, и то, что называют цивилизацией — начиная от удобных домов и кончая смелыми идеями — это маленькие островки в зеленом море Словакии. Их все больше и больше на запад, к Мораве. Они бледнеют и уменьшаются на дорогах к Прикарпатской Руси.

Конечно, Словакия начала новую жизнь. Через два {56} десятка лет она будет неузнаваема; но она еще не отогнала от себя дрему, и тень сна лежит на ее чуть ленивом, но молодом лице.

А любовь к России не исчезла. Как прежде патриоты были монархистами и консерваторами и молились на икону самодержавного образца, так теперь они стали коммунистами, потому что официальная Россия поклоняется Ленинской мумии. Они рождены панславянским недугом, эти национальные коммунисты, верящие, что красная московская звезда светит над словацкими селами.

Но есть и другие. Встречаются старики, помнящие с обожанием ту Россию, которой уже давно нет. Как о первой любви говорят они о празднествах коронации Николая II. Они не знают ни Ходынки, ни Распутина — сияние трона и блеск штыков сливаются для них в какое то лучезарное видение мощи и славы.

Интеллигенты и средние люди попросту любят Россию, не слишком разбираясь в политических событиях и революционных превращениях. В них говорит «нутро», чувствительность, воображение. В них говорит тоска по славянскому величию.

В дымной корчме Дольнего Кубина, городка, где жили словацкие поэты, я встретил проезжего торговца с реденькой бородкой и живыми глазами. Конечно, торговля его шла дурно: он любил книги и охоту, пел песни хрипловатым голосом, оглядывался, когда входила женщина. Он рассказал мне народную повесть о том, как император помиловал Яношика, но приказ об освобождении пришел слишком поздно. Он знал о Стеньке Разине из песни «Волга, Волга.» Но он знал и имена и сочинения Пушкина, Толстого, Чирикова и Немировича-Данченко. Он одинаково ценил и почитал всех четверых.

«Что наши разбойники, говорил он, жалобно качая {57} головой, у нас не было героев. Ваши революционеры! Ваши подвиги! А мы — маленький народ».

Россия казалась ему легендарной, русские — исполинами, в рост с теми Высокими Татрами, которые неясно вставали в дали.

А я говорил ему, что во многом Словакия схожа с Россией. Быть может поэтому так тянутся словаки к Москве, а русскому человеку Словакия мила — точно вновь видит он родные поля, и мужицкое лапотное царство, и посиделки, и девичьи хороводы.

Но он не верил мне, обижался за Россию. Как можно сравнивать! И когда он произносил «Россия», — он невольно смотрел в раскрытое окно корчмы, точно за Татрами и Карпатами он видел благословенный и великий край.

СЛОВАЦКАЯ ИДИЛЛИЯ

Поезд останавливается только на минуту, человек в форменной фуражке трубит в рожок и уже щеголеватый начальник станции с наполеоновским видом пропускает мимо себя лязгающие и стонущие вагоны.

Оборванный мальчишка в грязно белых брюках тащит мой чемодан. Но дороге, усаженной елями, мы идем в Любохню.

Утро. Ранняя сладкая осень — жаркое солнце, и в мгновенном ветре — острый холодок. Сосны очень черны, небо очень синее, серолиловые горы Низких Татр особенно отчетливы и близки.

Любохня в ущельи. С трех сторон ее замыкают невысокие горы в темных, хвойных лесах. И только к востоку долина, по которой течет мелководная река, неожиданно расширяется к светлеющим холмам.

Крепконогие бабы в платках проходят, сверкая босыми пятками. На возах сена, запряженных волами, мужики сосредоточенно курят длинные трубки. У домиков, закрытых садами, добродушные собаки приветствуют новоприбывшего вежливым вилянием хвоста.

В комнате маленькой деревянной гостиницы пахнет солнцем и смолой. По-словацки комната — «изба» — И деревенская простота и тишина сразу усыпляют меня.

{59} Это не величавое молчание вершин. Это покой и мир горной долины. Леса и горы закрыли, охранили Любохню, — убежище для тех, кто хочет только слушать, как шумят ели и как поет, перескакивая с камня на камень, ручей Низких Татр.

Когда идешь в лесу по тропинкам, устланным хвоей, или по дороге, оббегающей всю долину — все дружелюбно и приветливо: и эти нетрудные подъемы, и кивающие тополя в веселом парке, разбитом перед отельными домиками, и неподвижные, но не мрачные сосны. И даже когда узкая тропа упирается в стену гор и деревьев, отделяющую Любохню от мира, — покорно раскрывается ущелье, между двух сосен, точно колонны портика ведущих вдаль, белеет дорога — и есть выход для путника.

На склонах холма — тенистый парк Ирасека. Через него бежит поток. В одном месте запруда, на воде качается лодка, над беседкой из березового дерева надпись — «Русалка». Внизу — гостиницы, кофейня. Но их не видно за толстыми стволами. В беседке — и солнце и тень. Едва поскрипывает лодка. Сосна пахнет радостно и сонно. Чуть слышен шорох птицы в кустарнике. Музыкой гор шумит поток. Если лежать на траве — сквозь сучья и иглы глубокой голубизной сияет небо. Это и есть идиллия, мудрость полудня, часа, когда струится земная сила и в камне, и в человеке, и в этой хвое, и в этом потоке. Идиллия, потому что покой безмятежен, и благостно растворение в миротворном лоне Любохни.

Быть может это к лучшему, что Любохню еще мало знают, и она не успела превратиться в модный курорт, несмотря на свои гостиницы и поле для тенниса. В ее прекрасном парке не встретишь лысых и одутловатых промышленников и дам с перстнями, вьевшимися в толстые пальцы-коротышки. И даже неизбежные **{60}** «курортные гости» как то расползаются, разбредаются по окрестностям, и легко остаться одному на лесных склонах. Сверху, сквозь ветви, смотришь на дорогу, по которой

изредка, позванивая медными бляхами, проедет телега с парнем в белой рубахе. Порою старик в шляпе с отогнутыми полями, в безрукавке, отороченной бараньим мехом, стуча клюкой, пройдет по тропинке у потока и скажет, не выпуская трубки изо рта: «dobre odpoledne prajete». И опять в лесу, как в пустыне — только слышен хруст ветки, шорох муравьиной возни и скудеющий лепет воды, истомленной зноем.

У выхода из Любохни, по дороге к Вагу — кладбище. Оно приютилось под каменной горой, и над могилами нависают скалы. Среди почернелых крестов и ржавых распятий, между венков и увядших трав вдруг белизной сверкает мрамор — и потом опять одинаковые ряды и смиренные холмики — для простых покойников. Под такими холмиками лягут и те, что идут сейчас по дороге: и эта старуха с черной шалью, и парень в белой рубахе с развевающимися рукавами и расшитой цветными узорами жилетке, и пастух, подпоясанный шалью, с огромной палкой, на которой вырезаны слова, цветы и даты.

За кладбищем цыган бьет камень при дороге. У него заросшее лицо, одного цвета с бородой. Такими детей пугают. Вприпрыжку за прохожими бежит девочка — обезьянка в отрепье. А в стороне, под елью — на трех палках котел, смуглая женщина в красной юбке перебирает труху и тряпки.

По берегу Вага — приземистые мазанки, бедное жилье бедных людей. У овинов, обитых из глины, поднимается пар навоза. Тотчас же за плетнями — сосны: к самой вершине взбегают их ровные ряды. Девочки в {61} платках, в длинных юбках сборками, бегут к реке, перекликаясь звонко.

Солнце закатывается внезапно и прекрасно, точно в тропиках. Еще там, за лесистыми зубцами гор — яркий день, а здесь гряда Татр обвела небо темной межой. За ней садится солнце, нестерпимо черными делая оголенные сосны на вершинах. За серые скалы все ниже катится огненный круг. Разом в долине Любохни все пустеет. В последний раз по вершинам пробегает ярко радостная полоса, зелень деревьев еще блестит празднично. Но полоса сужается, пропадает — и горы мертвеют. Одна из них — спящий двугорбый верблюд.

Мрамор на кладбище так же темен, что и железные кресты. Обтесанные деревья лежат у дороги, без коры, голые, как покойники перед обмыванием. И страшен цыган, в сумерках бьющий камень огромным молотом.

Сразу темно, ночь. Ласковая долина — точно тюрьма, мы взаперти в ней, и от темных сосен еще светлей, еще желанней это сияющее небо над нами.

Вечером туристы и приезжие собираются в гостиных и бильярдных. Шуршат газетные листы в кофейном зале.

В маленьком прокуренном кабачке возле корчмы, где в садике коза с колокольчиком — свое общество. Жандарм, с тугим воротником, режущим толстую шею, сидит неподвижно и говорит басом. Еврей торговец с пролысью и белобрый солдат с пухлым и открытым ртом слушают рассказ приезжего коммивояжера. Двое парней любезничают с Маргитой. У нее широкое лицо, румянец, как нарисованный, и голые руки и ноги. Крепким ударом кулака отваживает она назойливых поклонников. Коммивояжер описывает чудеса пражских гостиниц.

Маргита мурлычет песню. Старуха в темном платке вдовицы, в {62} черном платье до пят, подставляет кружки под тонкую струю пива, льющегося из медного крана. Человек в рубашке с распахнутым воротом из плетеных бутылей наливает молодое, мутноватое вино.

На дворе тихо, тепло. Голоса из корчмы — неясный дальний отзвук. Ночь пахнет травами и спящей хвоей, лесом, легкой влагой. Звезды такие блестящие — точно влажные. Облака то закрывают луну, то мимо светлой ее короны плывут за черную границу гор. Последние огоньки мечутся и потухают на селе. И такая тишина лежит над мирною, безмолвною Любохнею, что собственное дыханье кажется ненужным вторжением в этот покой земли.

ГОРОД БЕЛОЙ ДАМЫ

Семьсот лет тому назад выходцы из Саксонии решили основать свой город у подножья Татр. Вокруг бушевали войны, через Карпатские ворота авары и татары врывались в долины Угорья и Словакии, — и поселенцы окружили холм валами, стеной, рвом и бастионами. Так в 1245г. возник укрепленный город Левоча.

За его неприступными башнями, пользуясь привилегиями, полученными от императоров и князей, жители Левочи стали развивать торговлю, ремесла и искусства. Ее живописцы и скульпторы славились по всему краю. В эпоху Возрождения Левоча сделалась центром наук и искусств для Восточной Словакии. Ее посещали польские и венгерские короли. Ее купцы говорили по латыни, а в ратуше кописты переписывали книги и отмечали события в летописи. Искусные ювелиры и резчики по дереву, часовщики и строители жили в XVI веке в кругу ее стен. Вольным городом, на подобие Гамбурга, была тогда Левоча, не признававшая ничьей власти, кроме Сената, выбранного из местных купцов и патрициев. И даже в начале XVIII века, когда Левоча втянулась в распри религий и властителей и была завоевана войсками австрийской короны, она все еще держалась независимо и гордо. Она торговала со Смирной и Дамаском, с Генуей и Триестом, {64} лила пушки для Вены и принимала посольства московского царя. Ее правители входили в договоры с арабскими шейхами и гайдамацкими атаманами, и левочские караваны шли под охраной сарацинских воинов и карпатских разбойников.

Но в XVIII веке пришло падение. Опустели после чумы и пожаров левочские дома, заросли травой ее разрушившиеся стены. Новые люди начали селиться вне крепостной черты. Захирели торговля, искусство резьбы и плавки чугуна.

И когда дожила Левоча до того времени, что флаг чехословацкой республики заменил на ее башнях желтого орла Габсбургов, она оказалась маленьким, забытым городком, лежащим в стороне от словацких центров.

Но и сейчас, за той чертой, которой обвели пределы города саксонские выходцы, сохранилась Левоча такой, какой была века назад.

Тропинка среди полей ведет в Левочу с железнодорожной станции.

Нижний, новый город — на склонах холма. Верхний — со всех сторон окружен оградой. Крепостные стены обегают его кольцом, и на востоке и на западе башни с узкими проходами — ворота. Стены осыпались, частью обрушились. Под ними, у вала из дерева и глины, — бульвар, по которому гуляют парочки. Внизу — ров. Там теперь буйно разрослись деревья и травы. А вокруг лежат цветными полосами поля, разбегаются невысокие холмы.

К северу — Мариинская гора. Белый костел с острой колокольней светлеет на ее вершине, в зеленой роще. Еще в средние века приходили сюда тысячи паломников. И теперь, ежегодно, в июле на Мариинской горе — «rout». По обеим сторонам крутой дороги стоят {65} продавцы лимонада и пива, торговки грушами и леденцами. На ларьках лежат пряники, булки, свечи. Уроды и нищие однозвучно просят милостыни.

Отирая пот с бронзовых лиц, идут старики в тулупах, наброшенных на плечи. Старухи в длинных черных платьях сгибаются под тяжестью белых узлов. Девочки и мальчишки, одетые, как взрослые, бегут, подымая пыль. Поскрипывая высокими сапогами, взявшись за руки, цветным рядом идут девки в ярких платках, из под которых спускаются косы с огромными бантами, хлопающими по пояснице. Их бока неестественно широки от десятка юбок — этого деревенского пережитка кринолина. Идут и парубки в свитках и белых штанах в обтяжку: на них, по бедрам и ляжкам, вышиты узоры черною тесьмой. Кое где играет гармошка, раздаётся песня, все говорят разом, кричат и бранятся, и гнусавый стон слепца пронизывает весь этот гомон.

Но сейчас дорога к Мариинской горе пуста, а расфранченные девицы, виляя десятками юбок, ходят по бульвару, грызя конфеты и орехи.

Одним боком прислонился к бастиону францисканский монастырь. После полудня в его часовне монахи играют на органе. Если слушать его под темными сводами башенных ворот, ведущих к убогим улочкам, кажется, будто нездешние эти звуки, будто в пустом костеле Мариинской горы невидимые персты касаются старинных клавиш.

По гористым улочкам с такими ухабами и ямами, что благословляю небо, пославшее меня в Левому не зимой и не осенью, пересекаю городок — к восточным воротам.

Дома — одноэтажные, с оконцами, пробитыми так низко, что они по колено прохожему. Большинство зданий не очень ветхо, но они построены на том же месте и по тому же плану, что и их древние праотцы. Один {66} выступает боком, у другого фасад свернут на сторону, у третьего два окна под фронтоном, а два на аршин от земли. Все они по разному неправильны. Только занавески и цветы на окнах одинаковые.

У ворот — в черное одетые старухи ворчат на играющих детей. Проходят венгерки с монгольскими разрезом темных глаз. Грохоча сапогами, мужики ищут вывески адвоката.

Порою из занавешенных окон раздаётся восклицание, звуки песни или два аккорда на пианино — и опять на горбатых улицах тишина и легкий запах пыли и полей.

В одной из улиц, подле францисканского монастыря живет психографолог и ведун. На розовеньких бумажках, наклепанных на заборы, объявляется, что он каждому расскажет прошлое и откроет будущее.

Млеющие девицы в платьях, удлиняемых или укорачиваемых согласно последней книжке братиславского модного журнала, приказчики в галстуках с крапинками и длинноногие семинаристы, пугливо оглядываясь, мышью юркают в домик с железными ставнями. Кудлатый пес и надменный петух охраняют в сенях обиталище Судьбы. Черноволосые еврейки и пухлые немочки узнают там, выйдут ли они замуж за сына торговца углем или же сам посланец Фортуны, фабрикант из Ружомберка, прельстится их многотрудной добродетелью и наливающейся грудью.

А молоденькие словачки с ясными глазами, хихикая и подталкивая друг друга, узнают от прорицателя, что унтер-офицер уедет, обманув. И даже пожилые крестьянки, стуча чоботами и закрывая белыми, развевающимися рукавами сухие, иконные лица, идут советоваться о мужьях и недугах к колдуну со звучным и старинным именем Корнелий.

{67} Но те же звезды, какие светили над вольным и богатым городом Левочой, когда в него приезжали астрологи в остроконечных колпаках, знавшие кабалу и книгу Раймонда Луллия, — те же звезды мерцают над площадью, на которую вечерами выходит население города.

Взад и вперед, долгими часами, ходит густая толпа. Снизу, из казарм, поднимаются солдаты и офицеры в кушаках. Щеголеватые фельдфебеля гуляют по двое. Навстречу им, взявшись за руки, проходят парами городские барышни, кидая убийственные взгляды. Из единственной кофейни, где заседает местная аристократия — нотариус, учителя, доктор и адвокаты — доносится писк оркестра. Кучка молодых людей и девушек стоит под окнами, восхищаясь музыкой, жадно глядя на тусклые лампочки — воображая все радости этого блестящего мира за мутным стеклом. Приезжие студенты рассказывают подросткам со стриженными волосами о театрах, о великих людях, о замечательных нарядах: до утра не будут спать взволнованные девочки, мечтая о великолепии столицы.

В полночь — пустота и безмолвие. В колотушку бьет сторож. Он и летом и зимой в таком же полушубке, как и страж XVII века: тот ходил, постукивая алебардой, и когда на колокольне церкви св. Иакова били часы, выкликал перед ратушей: «lasst euch sagen, hat's zwölf geschlagen». (на нем. - «разрешите вам сообщить – уже 12 пробито»; ldn-knigi)

В восточной части города лучше сохранилась крепостная стена. Зияют ее бойницы, темен неправильный проход ворот. За ними — пыльная дорога, по которой, огибая Левочу, бешенно летят мотоциклетки. Внизу сады, окруженные забором с двускатным, точно скворешник, верхом, хибарки, мазанки, избы. Куры и поросята рыщут в лужах и рытвинах. А дальше — казармы, школы, склады.

Достойный старичок с сизым носом показал мне {68} монастырь миноритов и лютеранское кладбище, а потом повел меня к изображению Белой Дамы.

Под самой крепостной стеной — сады. По каменным ступеням, осененным густой листвой,ходишь в запущенную аллею. Темно от переплетенных, перепутанных сучьев. Томит медвяный запах сливы и летних цветов. В стене, перед расчищенной лужайкой — ниша с деревянной дверью. И на двери картина неизвестного художника. На коричневом фоне стоит белокурая женщина с прекрасным и страшным лицом. Белая рубашка с буфами прикрывает ее тело. Малиновый плащ едва наброшен на плечо. Повернув голову, в кого то устремив упорный, пронзительный взгляд, она манит одной рукой, в другой у нее ключ — и она отпирает дверь. В нише полутьма. Ниша забрана проволочной сеткой. Иссечено временем лицо и руки женщины. В саду душно и тихо.

Это портрет Белой Дамы, той самой, которая погубила Левочу и потом сама погибла страшной смертью.

В 1710 году протестантская Левоча, державшая сторону венгерского князя Ракочи в его борьбе против Австрии, была осаждена императорскими войсками. Мадыарский генерал Стефан Андраши защищал город. Три месяца держалась Левоча, и продержалась бы долгое время, если бы не предала ее Белая Дама. Жена одного из офицеров Андраши, Юлиана Корпонаи свела с ума генерала. Она была хороша недоброй, обольстительной красотой. Ее нрав был резок, изменчив, и Андраши никогда не был уверен в своей лукавой и мстительной любовнице. Тщеславие сжигало ее. Она мечтала о славе и богатстве для своего маленького сына. Считая, что победа останется за императором,

она решила сдать город неприятелю. Обманом и хитростью она вступила в переговоры с австрийскими военачальниками и те, за Левочу, обещали поместья {69} и титул ее сыну.

Потайным ходом, ведшим в ее дом и обеспечивавшим осажденным воду, провела она ночью императорские войска. Левоча пала, Андраши принужден был склониться перед Веной. Но игра Юлианы Корпонаи не окончилась победой. После смерти австрийского императора Иосифа I, вновь разгорелась борьба партий, обещание не было выполнено, и сын Юлианы ничего не получил. Тогда с необычайной энергией и страстностью она стала действовать в пользу Ракочи, с которым оставался покинутый ею и проклявший ее муж. Она повела отчаянную борьбу против Вены. Ее схватили, когда она бесстрашно разъезжала по Словакии, готовя восстание. В Рабе палач раздробил щипцами ее нежные и сильные руки; на ее светло-золотистые кудри надели адскую корону: обруч с шипами, стягивавший голову в кровавых тисках; на дыбе растянули ее прекрасное тело — но она ни словом не выдала сообщников по заговору, которым сама руководила. На другой день ей отрубили голову — предательнице и мученице, Белой Даме из Левочи.

На чудесной четырехугольной площади Левочи, окруженной домами эпохи Возрождения и барокко, стоит дом, похожий на гонуэзскую крепость в миниатюре. Он увенчан десятками маленьких башенок, на которых поворачиваются разноцветные флюгера. Во втором этаже — нет окон, только дверь, выходящая на балкон кованного железа: с него можно показываться народу или смотреть на празднества и процессии. Это дом венгерских графов Турзо. Здесь жила Юлиана Корпонаи, блистая красотой и тонкостью ума. И тут же помещался ненавидевший ее судья и глава города — суровый Фабрициус.

По середине площади, в ряд, евангелический храм. Ратуша, церковь св. Якова.

Первый этаж ратуши — галерея с низкими сводами.

{70} Над ней — широкие окна. Вверху треугольные фронтоны в духе Ренессанса с барочными завитушками и украшениями. Над входом — фрески: женские фигуры в хитонах, умеренность и сила, терпение и справедливость. Латинская надпись хвалит тишину: *pace reflorescunt oppida, Marte cadunt* (в мире расцветают, в войне погибают города). Любили левочские горожане мудрость латинских изречений, рассудительность почтенного Сената, собственную значительность и толщину.

На этой площади прошла вся жизнь Левочи. В галерее приезжие купцы, под наблюдением городских приставов, продавали товары по ценам, установленным Сенатом. Все тут было предусмотрено и определено, — вплоть до одежды, какую полагалось носить патрициям и мешанам, вплоть до меча, которым была опоясана городская стража.

Иностранцы во множестве съезжались в Левочу, венгерские полковники постоянно были во главе ее войска — но никому, кроме уроженцев города, не разрешалось иметь дом внутри крепостных стен. Особые законы управляли жизнью Левочи. Каждый гражданин обязан был защищать свою родину с оружием в руках, у бойниц и амбразур. Когда наступали тревожные времена (а таким был весь XVII век) на площадь, по набату, вызывали представителей всех цехов: портным надлежало идти на один бастион, мясникам и мелким торговцам — на

другой, кузнецов и плотников посылали к монастырской башне. Из ратуши к валам везли пушки, в литье которых были особенно искусны жители Левочи.

Небольшая лестница ведет к просторной лоджии над галереей; сюда подымались сенаторы, окидывая взглядом подвластный им город, его 15 бастионов и четыре сторожевых башни, его укрепленные стены. Через {71} сводчатую переднюю входили они в Зал Совета, с его деревянными лавками по стенам и портретами именитых бюрг-мейстеров. Сейчас висит в нем картина, помеченная 1677 годом: вокруг зеленого стола, на котором лежат меч и евангелие, собрались для присяги городские советники. Рыжебородый Фабрициус в отороченном мехом кафтане, поднял руку, произнося священную формулу. Писарь, в голубом кафтанчике, склонив на бок лисье личико, строчит протокол, бородатые важные купцы в плащах — со знаком сенаторского достоинства присягают с каменными липами. Страшная судьба грозит изменнику: О ней говорит надпись под картиной: «не соблюдавшего клятвы поглотит ад, уготовив ему тяжкий путь к вечной гибели».

Летописцы рассказывают, что тяжела была рука Фабрициуса. Когда Левочу осаждали враги, никто не смел показаться на улицах в ночной час. Девушек, схваченных стражей после сумерек, сажали в железную клетку, которую выставляли на позор и посмеяние у крепостных ворот. Нерадивых воинов и ослушных офицеров ждали пытки в каменном мешке, раскаленные щипцы палача и виселица или обезглавление.

В верхнем этаже ратуши сейчас музей. Старичок сторож достает огромный ключ и отпирает дверь редкому посетителю.

Между пищалей, арбалетов и рапир, в комнате, где стоит шкаф с раскрашенными желтым и красным ящиками — регистратура XVI века с надписью «корень правды», висят портреты рыцарей и ландскнехтов. Им поручали левочские граждане защиту своих товаров и жизни. Эти воины с алебардами, рогатыми шлемами и разбойничьими усами, вероятно, не слишком считались с той правдой, корень которой находился на дне запыленных ящиков {72} регистратуры. Крепкий кулак и меч были им милее бумаг с печатями и желтого пергамента.

У одного венгерского капитана из под низко надвинутой шляпы с пером недобро блестят глаза на заросшем лице. Они такого же серого цвета, как и кольчуга под красным плащом. Одна рука надменно уперлась в бок. А другая ласкает рукоятку рапиры.

Воин в широкополой шляпе держит в руке толстую палку. На синем его кафтане — серебряный крест.

А рядом портреты дородных горожан, старух в косынках и чепчиках, угрюмых стариков в кружевных жабо.

Купцы и разбойники, и те, кто охранял, и те, кто нападал, одинаково верили в Божию милость и кару. Они наполняли готический храм св. Якова, стараясь не звенеть шпорами и оружием. Прослушав протестантские псалмы, они у выхода смотрели на снятие со креста над часовней св. Георгия. В XVIII веке католическим стал собор св. Якова. Но так же толпились в нем верующие. Да и теперь, по воскресеньям — толпа, не понимая и благоговей, слушает латинские слова и тягучую музыку органа.

А за стеной, как в былые годы — базар. Под платанами за церковной оградой навалены в кучу картофель, кочаны капусты, наливные сливы, поклеванные птицами груши. На лотках разложены огромные житные хлеба с запеченной в них соломой, белое сало, масло, сбитое в ком, глиняная посуда и печатные пряники. Между корзин, между груд яблок и красного перца ходят охотники в зеленых куртках, лихо наброшенных на плечи, светлоглазые парни в рубахах, раскрывающих грудь и у ворота завязанных тонкой тесьмой, молодичицы в розовых кофтах и простоволосые городские женщины с кошелками и мешками.

И все — эти низкие дома, сохранившие печать Ренессанса, эти деревянные ворота с вырезанными на них {73} башенками и колонками, эта пестрая и шумная толпа, это ржанье лошадей, привязанных к деревьям, этот праздничный, оглашающий холмы звон, эти поля, зеленью блестящие в просвете улиц — все это такое, же, как тогда, в дни Фабрициуса и Юлианы, а может быть и раньше.

За городской стеной, у Менгардских ворот, под зелеными ветвями у дуба — стол и две скамейки со спинками. За столом перед вечером сидят старики в белых лосинах, обеими руками опираясь на высокие посохи, крестьяне в широкополых шляпах, проезжий человек с рыжей бородой, в синем кафтане. Охотник с ружьем за плечами, в шляпе с фазаньим пером, стоя у края стола, блестя недобрыми серыми глазами, упершись рукой в бок, рассказывает о своих приключениях. И две женщины в косынках, в широченных юбках веером, припав грудью на спинку скамьи, слушают, из-за голов сидящих рассматривая рассказчика. Мне все казалось, что я вижу старинную гравюру. Сейчас от Миноритского монастыря выедет рыцарь в броне, а за черным его конем мерным шагом пройдут арбалетчики в острых шлемах.

И телеграфный провод на городской стене удивляет, как анахронизм. Ведь время легкой стопой шагает назад в замкнутом кругу левочских стен, в ее крепостной отчужденности от мира.

И не хочешь прерывать этой прогулки в веках, не хочешь покидать этой восточной Сиены.

Но уже холодеет сумеречный воздух. Первые огни мелькают в низких окнах. Мимо церквей и башен, мимо бастионов и боевых валов возвращаюсь я вновь полевой тропинкой — и вот уже у подножья неприступного холма пламенеют драконьи очи паровоза.

ШТРБСКЕ ПЛЕСО

В Штрбское плесо я приехал из Дольнего Смоковца. Дорога, извиваясь, ползла вверх в хвойном лесу. Веерами раскрывались горы, долины, в которых курился туман, страшные обрывы. Потом неожиданно, разом, расступились деревья — блеснуло синью озеро, скрытое плотными рядами сосен, из-за которых нависали угрюмые вершины. Это и было Штрбское озеро, «Штрбске плесо».

На террасе великолепного отеля оркестр играл фокстроты и увертюры из итальянских опер. Фотограф в длинном черном одеянии, размахивая руками, бежал к станции электрического трамвая и на всех языках разом предлагал свои услуги.

Великолепные лакеи обносили гостей чаем и печеньем. Дамы в вышитых платьях, важные старухи с лорнетами и безукоризненно причесанные мужчины разговаривали достаточно оживленно, но пристойно. Барышни в кудряшках, одетые под туристов, кокетничали с юношами в шелковых рубашках и широких штанах для гольфа.

Все было, как в тысячах иных горных курортов, как в Швейцарии или Тироле: и скромная вкрадчивость не слишком громкой музыки, и подкатывающие к входу автомобили, и неслышные лакеи, и женский щебет. Конечно, {75} были и танцы в пять часов, и изгибалась местная красавица с крашенными волосами и злым ртом, и подрагивала плечами худая американка в роговых очках, и бесчисленные открытки писали новоприезжие, и раздавалась английская речь, и толстый немец в клетчатом пиджаке смотрел в бинокль на горы и восхищался вслух.

Группы туристов в подкованных сапогах, с мешками за плечом то и дело проходили под террасой. Кое кто, услышав музыку, поднимался в кафэ. Высокий мужчина в запыленных башмаках сбросил свой мешок у соседнего столика. Его спутница в вязаной шапочке и короткой синей юбке видимо наслаждалась и отдыхом, и чаем, и танцами.

Погода испортилась. С вершин оползали облака. Видно было, как шел туман. Сперва были покорены сосны на том берегу, их закрыла белая стена, потом туман спустился в озеро, озеро было завоевано и исчезло. Туман переправился на другой берег, пошел на нас, к террасе — и вдруг перед нами белесая зыбь, на два шага не видно, мелкие капельки пристают к одежде — мы в облаке.

Дамы в шелковых блузках поспешили в читальные залы и салоны отелей. Туристы побрели к ресторану на берегу озера.

К вечеру в трех его комнатах, в которых на высоких деревянных полках расставлены словацкие яркие тарелки и расписные деревянные игрушки, собралось множество народа. Каждую минуту раскрывалась дверь, все новые и новые подходили туристы, снимая на ходу мокрые мешки. У стойки, за которой добродушная седая старушка цедила пиво, загорелые юноши прибывали к своим палкам металлические значки с названиями гор и хребтов, куда они взбирались. За каждым столом усталые, но веселые девушки рассказывали друг другу о восхождениях, о {76} ночах, проведенных в лесу, о заре над горными вершинами. Немолчный говор то и дело взрывался дружным смехом. Половые едва успевали ставить на стол дымящиеся тарелки супа, блюда с телятиной и

свиной, бокалы легкого вина. Здесь, пожалуй, было лучше, чем в великолепной столовой отеля «Hviezdoslav» с его декоративными панно, изображающими Золотую стену в Татрах, с его лакеями во фраках, музыкой под сурдинку и чинными гостями. Там были люди, приехавшие в Татры для развлечения или ради здоровья и больше всего заботившиеся о том, чтобы не менять своих городских привычек. Терраса отеля «Кривань», прогулка вокруг озера или по расчищенной дороге в лесу, давала им приятную иллюзию единения с природой.

А здесь были мудрые юноши и девушки, пожилые люди и даже старики, вырвавшиеся из городов, чтобы странствовать пешком по горам, слушать ток тетерева в лесу, ночевать в избах, станах или под столетней хвоей.

Бодрый старичок с крепкими зубами, доказывал компании молодых студентов, что туристика должна возродить человечество: в средние века ее не было, потому что еще не имелось отрыва человека от природы. А теперь она необходима, чтоб приучить людей к простым радостям и заставить их почувствовать себя частью вселенной.

Но мало интересовали студентов вселенная и человечество. Они слушали, правда, румяного старичка в рыжей куртке, но порою от сдерживаемого хохота у них дрожали щеки, и внезапно они хлопали друг друга по голым коленкам.

За соседним столом шел негромкий разговор. Высокий бородатый человек в вязаной фуфайке, разостлав на столе план Высоких Татр, карандашом показывал своим {77} друзьям и их женам путь предполагаемой экспедиции. Завтра на рассвете они должны были выступить к польской границе, к озерам «Рыбьему» и «Морскому глазу». Со всех сторон слышались названия хребтов и горных проходов, сообщались сведения о дорогах и тропинках: ведь Штрбское плесо — исходное место туристики в Высоких Татрах. Отсюда совершаются легкие прогулки в несколько часов и трудные восхождения, продолжающиеся несколько дней. Летом и ранней осенью здесь проходят тысячи людей, а зимой, когда на сотни верст кругом все покрыто льдом и снегом, сюда приезжают лыжники со всех кондов Чехословакии и из-за границы.

К одиннадцати часам вечера все пустеет: туристы расходятся. Кто идет в лес в общежитие, устроенное Клубом чехословацких туристов, кто в «стан» — огромную палатку, разбитую в нескольких шагах от ресторана. У кого больше денег — отправляется в удобную комнату гостиницы.

Штрбское плесо, как и Любохня, как и минеральные воды Словакии — собственность государства. Ему принадлежат и гостиницы, и дома, и рестораны. Все они нарядные и новые: ведь только недавно по настоящему «открыли» Татры.

Долгое время эти дикие горы, резко поднимающиеся между впадением Моравы в Дунай и Железной Дунайской Стеной, считались неприступными. Вековые леса, в которых ходили рысь и медведь, волк и дикая кошка, охраняли подступы к Татрам. Крутые склоны и хмурые вершины не привлекали к себе путников, из Карпатских ворот спускавшихся в подтатранские долины. О Татрах слагались десятки легенд, придавших им ореол священной тайны.

Когда закатывалось солнце за горной цепью и {78} сверкало золото его на снегах и льдах, крестьяне в долинах говорили о сказочных кладах, скрытых в Татрах. На берегу озера «Морское око» три монаха охраняют вход в пещеру, где лежат неисчислимые сокровища. Клады и золото зарыты на вершине Криваня, но только человек безгрешной жизни может добраться до них.

В XVII и XVIII веке разбойники скрывались в Татрах и прятали здесь свою добычу. Мало помалу и охотники и пастухи отваживались и протапывали дорогу вглубь лесов, вверх, к горам. Потом пришли искатели золота, верившие в то, что на Криване и Солиско они найдут богатые россыпи и драгоценные камни. Одна гора и называлась даже «Рубиновой башней», потому что, по преданию, на ней был рубин ослепительной красоты. Он и ночью светил красным огнем.

Золота не нашли, но за искателями богатства двинулись искатели приключений, охотники, потом и туристы, — люди, которых в горы гнало любопытство и глухое стремление «приблизиться к природе». За последние двадцать лет исхожены все почти дороги в Татрах, обследованы все вершины, начерчены точные карты. Но все таки сохраняют Татры свою дикую прелесть, долгими часами идешь по их лесам, не встречая ни жилья, ни следа человеческого: даже птица не любит селиться под этими торжественными сводами исполинских елей и берез. И только озера смягчают суровую хмурь Татр: неожиданно сверкает водяная ширь за каким-нибудь поворотом дороги — тогда расступаются леса, в голубом небе вырезана зубцами горная цепь, у берега убогие цветы — голубые колокольчики, светлый миозотис.

Таково и Штрбское плесо. На горном плато, на высоте 1300 метров — озеро. К самой воде его подошли острые, высокие сосны. Сторожевым леском окружены {79} скалистые берега. С одной стороны — стена гор, обрывистая вершина Солиско, курящегося в облаках, страшные морщины горы Сатанос, пик Криваня. С другой — обрыв, идущий вниз, в горные долины, скрытый темными рядами елей. Так охранено озеро, оно скрыто в горах, в лесах, точно священное — и оттого так углубленно тихи его берега.

В облачные дни и берега и горы опрокинуты в воде. Сосны не шелхнутся на посту, в ущельях Штрбского хребта, между вершин, расплзаются облака. С Криваня, наседая, темнея, ползут пухлые тучи, давят на копыя деревьев, съедают скалы. Озеро так неподвижно, точно слито оно из одного куска. В стеклянное его бесстрашие смотрятся здания, скупившиеся на краю плато — и многобалконные отели, и кафе с колоннами, и деревянные виллы с резными коньками.

Когда светит солнце — озеро темно синее, с аметистовыми переливами, сосны и травы так зелены, так прозрачен воздух, что кажется, земля молода, и еще не сошел с нее праздничный блеск новизны — и только горы — стары, с их серыми вершинами, источенными, изборожденными пропастями, оврагами, каменистыми ложами иссохших ручьев. И странно это ощущение свежести и первозданности — и древности. Потому что все не только нетронутое, но и бесконечно древнее.

В двух шагах от берега — лес — и в нем каменный хаос: валуны, скалы, камни, задержавшиеся в своем низвержении, вьедшиеся в землю, обросшие мхом или страшно лысеющие гранитом. Точно исполинская рука разгневанного вседержителя с неба швыряла эти стопудовые игрушки. Порою, на поляне, в кругу торжественных сосновых колонн —

огромный, гладкий камень. На нем, вероятно, совершались {80} жертвоприношения, люди в звериных шкурах здесь просили своих богов о милости и метком полете стрелы.

Чем выше — тем грознее эти нагромождения бурь и времен. Источенное русло горного потока ведет через лес деревьев и через лес камней. На расчищенном месте пни торчат, как памятники над могилами. От крутого подъема трудно дышать. На вот тропинка сворачивает в сторону, вбок, мы на небольшой площадке — и сверху, между мохнатых стволов, раскрывается нам уединение Штрбского озера.

Хорошо возвращаться в Штрбское плесо вечером, когда едва бредешь по скользящей тропе, нащупывая палкой деревья, неожиданно вырастающие перед ногами. Первый огонек, мелькнувший и пропавший, вдруг вновь зажжен и повторен. Озера не видно, его угадываешь по отражениям, движущимся во тьме, по свежему дыханию воды. Но лес окончился, знакомая дорога ведет к освещенным домам — и вдруг усталость сгибает ноги — и уже нет сил пройти эти несколько шагов до приветных окон ресторана.

А покидать озеро надо на заре, когда солнце — розовое, легкий сон гор еще не рассеялся паром, из темно-синего — голубым делается озеро, в разрыве облаков, таких плотных, видимых, что хочется руками охватить — сияющее светлое небо.

Ни души на террасах и балконах гостиниц. Хвойные иглы заглушают шаг. В последний раз, у поворота — видно озеро, это око моря, целиком разоблаченное. А потом долгий путь, через хребты и перевалы, к торжественно-спокойным вершинам высоких Татр.

ЗАМОК НА ОРАВЕ

Маленький поезд, поскрипывая и останавливаясь на полустанках, ползет в гору, по романтической долине Оравы, пересеченной лесистыми холмами. Река извилиста и мутна, злая вода ее скачет по камням и порогам. На берегах, у подножья гор, у лесных опушек бедные деревушки, желтые поля, в которых не разгибают спины крестьянки в кумачовых платках.

Между дубов, ясеней и буков деревянные церкви поднимают черные луковицы своих маковок. Подле церквей — сады, и старухи в кофтах, отороченных волчьим и бараньим мехом, собирают груши и сливы в огромные корзины.

В луке реки, с двух сторон огражденной водою, стоит огромный утес. Он так крут, склоны его так неприступны, что перестает он походить на создание природы: все кажется, будто он сделан людьми, будто поколения над ним работали, чтобы превратить скалу в крепость. На узкой вершине скалы, прилегая к ее камню, срастаясь с ним в единое гранитное тело — узкий замок и круглая башня с бойницами. Это «верхнее гнездо». Скала идет, расширяясь с одного боку (с другого вертикальное падение вниз, в реку), и в расширении, ниже — {82} башни, стены и бастионы. Это второй замок. А еще ниже — третий: колокольня, бойницы, строения.

Вокруг — обрыв реки, злость потока, цветущая долина Оравы, правильные карре лесов, спускающихся в боевом порядке с холмов — рассеянные домики среди полей — и вдали едва намеченные карандашом легкие видения Высоких Татр.

В эпоху крестовых походов рыцари храмовники решили утвердиться на этой скале. Обильный и дикий край расстилался перед ними. Отсюда, из «орлиного гнезда», могли они править всей Оравой, не боясь набегов турок и татар, повелевая холопам и крестьянам. Отсюда шли пути в Польшу и Венгрию, на Мораву и Нижнюю Австрию. Скала была закрыта холмами — но со сторожевой ее башни воин в рогатом шлеме мог заметить каждого всадника, державшего путь в долину. Когда рыцари выезжали воевать и грабить, спускался подъемный мост; по одному съезжали всадники в бронях по отвесной тропинке.

Не одно поколение возводило и укрепляло страшную твердь. В XV столетии на скале уже стояло два замка, отделенных друг от друга стенами и рвом: если врагу удавалось овладеть нижним замком, осажденные запирались в верхней цитадели. А осады были часты. Из рук в руки переходила оравская скала. Польские короли и венгерские князья то и дело дарили ее своим приверженцам.

В зависимости от военных удач и политических событий доставался замок то сторонникам императора, то его противникам, то католикам, то протестантам. Но все хозяева поступали одинаково: наказывали население долины, облагали его податями, топтали его нивы лошадьми в чепраках, забирали девушек для забавы и крепких парней для пополнения двора. При гуситах, когда в {83} Словакии воевал их вождь Ян Искра, на Ораве засел разбойник Петр Кемеровский: он грабил и насиловал весь Оравский край. Когда его отряды были разбиты, а сам он бежал, люди радовались, точно рай наступил.

Только в середине XVI века Оравский замок достался в руки хозяев, которые начали украшать и обновлять его. В 1556 г. вступил в него нитранский епископ Франц Турзо: долгие годы владел и замком и краем род графов Турзо, тех самых, чьи поместья простирались и до Опиша и до Левочи, где стоит дом их имени. Франц Турзо укрепил стены, выкопал в скале колодец, спускавшийся ниже речного дна, начал строить нижний замок, довершенный лишь в XVII столетии. При сыне его Юрае богатство и слава осеняли Ораву. Как и отец его, Юрай Турзо был протестантом, но хранил нейтралитет в борьбе партий и религий. Искусный дипломат, покровитель искусств, он создал из Оравы нечто в роде владетельного княжества, и Оравский замок в его время напоминал двор какого-нибудь итальянского герцога.

Его усилиями замок из ленного стал наследственным, и по наследству должно было переходить и звание и власть жупана Оравского. Отныне тот, кого, по условиям особого завещания Юрая, наследники, по общему согласию, выбирали владетелем замка и жупы, считался господином не только лесов и угодий, но и десятков тысяч крепостных и свободных людей, обладая над ними правом жизни и смерти. За особые заслуги перед троном был Юрай Турзо возведен в звание палатина, а после его смерти, его жена Елизавета пять лет правила Оравой.

В одной из маленьких комнатушек среднего замка сохранилась картина неумелого живописца: Юрай Турзо и жена его в гробу.

Огромная рыжая борода обрамляет строгое лицо {84} заместника императора, палатина Оравского. Белый чепец на голове Елизаветы, его жены, которую любил он крепкой любовью, которой, после военных трудов, писал юношески нежные письма.

В кафтане, расшитом бархатом и парчой, в волчьей шапке лежит владетель земель и замков в последнем узком своем владении. В светлой часовне, перед алтарем, прикрытые плитами, лежат гроба: в них истлели уже останки Юрая, и жены его, и сына Имриха. А кафтан и волчья шапка, в которых мертвый был показан народу, сохранились — и в стеклянном шкафу тусклеет золото украшений и редеет мех, похожий на бороду Юрая Турзо.

В XVII веке опять начались войны, измены, борьба. В 1672 г. Гаспар Пика восстал во главе протестантов, измученных постоянными преследованиями. Благодаря предательству ему удалось овладеть крепостью. Сюда свозили пленных рыцарей из отрядов, которые Пика разбивал в открытом поле. Почти все католики в округе были вырезаны. Против Пика было послано целое войско, осадившее Оравский замок. Измена дала его в руки Пике, она же и погубила его: новое предательство позволило осаждавшим вторгнуться в нижний и средний замок и приступом взять цитадель. На крепостном бастионе был посажен на кол Гаспар Пика, на 30 виселицах были повешены его сообщники, — и до сих пор место казни зовется «висельным».

Но этим не была закончена борьба между католиками и протестантами. Когда турки осаждали Вену, Ян Собесский, идя к столице, по дороге разбил войска венгерских «евангеликов» и сжег 25 общин на Ораве. Потом, в начале XVIII века началась война между императором и Ракочи: вновь был осажден Оравский замок, {85} голодом пытались взять его австрийские войска — и опять измена решила судьбу неприступной скалы.

С этих пор начинается падение.

У наследников Турзо казна отнимает часть угодий и должность жупана. В 1800 г. пожар уничтожает богатства, накопленные в замковых залах. А в 1848 году революция наносит последний удар: свободу получают тысячи крестьян, работавших на владетелей замка, крепостное право уничтожено, барщины больше нет, и уже не могут палатины и князья править Оравой, как своей вотчиной.

Конечно, все еще сгибали спину оравские мужики перед хозяевами замка, все еще видели своих господ в князьях Зихи, живших на Оравской скале — но старые времена уже миновали, и ко второй революции, закончившейся освобождением, к 1918 г., Оравский замок, былая твердь и гроза края, превратился в музейную древность.

У подножья замка лепится сейчас бедное село. Мимо низких его домиков, под дубовой и березовой сенью, ведет вверх крутая тропа. Над окованными воротами — две бойницы. В каменном гербе полустершаяся надпись — год 1563.

От ворот — коридором — высокие стены. Потом новые ворота, башня, арка, и кривой, темный туннель, идущий в гору, пробитый в скале, под бастионами. Под могучими угрюмыми его сводами должно быть пугались кони, когда, звеня железом, возвращались отряды в средневековый замок.

За туннелем — первый двор, новая башня, мост, ворота.

Потому ли, что выгорел замок и мало осталось предметов от прежней жизни, потому ли, что в нижнем замке — музей, он неуютен и холоден. Огромные чучела {86} медведей и кабанов, сов и горностаев наполняют эти покои с низкими сводами и толстыми стенами. Здесь собраны все дикие звери и птицы Оравы, все жуткое население ее лесов: когтистые рыси, филины, волки, дикие кошки. Все они были некогда убиты меткой рукой князей и рыцарей, и между рогов оленей и над головами медведей обозначено время и место их гибели.

Грубую и полудикую жизнь вели здесь надменные властители Оравы. Не сохранилось следов блеска и радости в этой военной крепости, из которой умели только приказывать, наказывать и совершать набеги. И на портретах жупанов — лица вояк, гордых панов, дружных с мечом и плеткой. Бедна мебель комнат. Нет фресок на стенах. И невольно вспоминаешь великолепные чешские замки: Звиков, прекрасный соединением дикой неприступности с художественными богатствами; романтический Кшивоклат и пышную Червену, или средневековый Пернштин, или даже гильдебрантовскую Блатну: там сохранились не только аркебузы и брони, палицы и рапиры — но и произведения искусства, следы ума и воображения.

И только во дворе, между первым и вторым замком, какое то неуловимое дыхание эпохи возрождения; рука Юрая Турзо заботилась здесь о грации.

Меж зелени трав и цветов, вверх ведут широкие, мохом заросшие ступени. По обе стороны их — каменная балюстрада. У ее подножия — вазы на постаментах. Вверху лестницы, вытянув лапы, лежат каменные львы с безглазым взором.

А за ними — стены, галереи, лестницы и переходы, стрельчатые окна, зубцы стен, бойницы новых башен.

В одной из комнат среднего замка сохранились две картины 1800 г. с французскими надписями: «vue du château d'Arva».

{87} Мягким цветным карандашом нарисовал художник зелень деревьев, невинную голубизну неба и реки; пастухи сидят на берегу;

овцы пасутся под деревом. Но тщетно пытался он изобразить замок в мирных, палевых тонах: и сквозь идиллию мрачна серая скала — и вот уже не веселят ни ласковые краски, ни пастухи.

В серединном замке — огромные очаги, деревянные лежа с балдахинами, реставрированные столы и крепкие стулья.

Через галереи, по деревянным лестницам, в пролетах четырехугольной башни — вверх — к цитадели. Вот место, где были последние ворота и подъемный мост: его подымали, когда враг врвался во двор со львами и вазами.

По неверным ступеням полчаса идти к вершине скалы. Ничего не осталось сейчас в верхнем замке. Только ветер гуляет в оконных впадинах, в зияниях бойниц и дверей, птицы летают между стропил, всюду леса и балки, и в закатный час — эти срывы, пропасти и колодцы, эти обнаженные стены и кирпичные арки — точно грандиозная театральная декорация из пьесы о гибели города циклопов.

Узкий балкончик ведет вокруг башни. Он весь дрожит и трясется от шагов. Посмотришь вниз — пустота, и где то очень далеко упирается скала в берег — и движется, сверкая, река. Закатывается солнце, безлюдные и сказочные леса зубцами невиданных крепостей замыкают горизонт, темнеющие поля бегут к холмам, светлеет, пропадает, победно расширяется извилистый путь Оравы.

Когда я уходил из села — там пели свадебные песни.

Тонкий голос выводил:

Гей! деме, деме, а цесты неведеме.

Гей! добра льюдя ведья, азда нам поведья.

{88} А ему отвечали два других, плачущих, девичьих:

Гей! позри се Мариенко на ту нашу вежу!

Гей! уж твою слободу до узличка вяжу!

Гей! ведь ти ю увяжу на штири узлички!

Гей! чо ю не розвяжу тье твои ручички!

Это были все те же песни, какие о женской доле пели на посиделках при Юрае Турзо и Гаспаре Пике, и во времена художника, пастелью нарисовавшего пастухов. Тот же плач девушки слышали обитатели нижнего замка, каждый год, каждый век.

Но сейчас — никого уж не было за крепостными стенами. В теплом вечере ни один огонь не светил из них окон. И только луна, освобождаясь из под облака, на миг освещала слепое чудище на черной Оравской скале.

РОЖДЕСТВО В ВАЖЦЕ

От Праги двенадцать часов курьерским, в Словакию, к Высоким Татрам. В стороне от железной дороги, у подножья гор, раскинулось село по обоим берегам извилистого Вага. От реки и имя Важец.

Три тысячи жителей — я среди них почти единственный в городском костюме. Все одеты так, как триста, четыреста лет назад: крепко держится Важец за то, что передали ему отцы и деды — за черную круглую шляпу с тесьмой, за белые штаны для мужчин, за свитку и чоботы, за разноцветные ленты в косах девушек, за оборчатые юбки — одна на другой — для женщин. И за упорный, тяжкий труд на каменистых горных склонах, за курные избы, за скудную похлебку из кореньев, за нравы и слова, пришедшие из средневековья.

Не признают жители Важна новшеств: грудью отстаивали свое село, свои обычаи, свою одежду — даже венгры и австрийцы, начальники и магнаты, оставили их в покое. Так и сохранился Важец — и для живописной, и отсталой Словакии — диковинный островок, куда приезжают изредка столичные гости, чтобы послушать сказателей, зарисовать нетронутый тип словачки, улететь — без машины времени — назад, в прошлое. Но чтоб приехать, {90} надо иметь друзей в селе: никуда не пустят чужого человека.

У меня друзья есть: художник, живущий здесь третий год, учительница, хлопотавшая о жилье, словацкий патриот, наезжающий порой в Прагу, но живущий обычно на родине в Важце. Мне приготовили избу, навалили в сени сосновых поленьев, приставили мальчишку, Янко, для услуг.

Каменных домов мало. Купцы несколько выстроили, корчмарь, да школа, да почта. И еще два-три богача кичатся своими «мураницами». У остальных — мазанки или избы деревянные.

Моя совсем хороша. Не соломой крыта, а тесом. Три почернелых стропила вдоль, двенадцать балок поперек. Два окошечка, точно кукольные: голову высунешь — все окошко закрыто. Дымохода нет — под островерхую стреху ползет дым из огромной, кривой печи, выпирающей на середину. У стен деревянные лавки. На низкой кровати устрашающие перины в темно-пестрых домотканых наволочках. И по дереву кровати — голубые розы, сизые голуби, наивные венки и звезды. А на стенах тарелки: мадьярские с крестом в темно-синем обводе, с уродливыми ангелами; здешние, важецкие — с желтоватой, широкой каймой, с важными петухами меж зеленых листьев. Есть и часы с гирями. Не идут уже полвека. А что им полвека — ясно из надписи на стропиле: охотничьим ножом вырезаны пляшущие буквы: «с помощью Божией, выстроил избу эту Яно Ролинц с женой Эвой Бертой в лето от рождества Христова 1875».

Янко в драном полушубке, разинув рот, смотрит на наши приготовления к елке. На все село — три елки, чужой это обычай, городской.

Янко тринадцать лет. Он прислуживает шинкарю: таскает воду, топит печи, мастерит и бегаёт по всяким шинкарским делам. За многие труды свои получает он десять чешских крон в месяц и десяток затрецин в день.

Пораженный великолепием пряничных украшений и орехов в золотой бумаге, он при помощи пальцев освобождает нос от излишней влаги и мечтает вслух: «пане Марко, а если бы мне проехать в Прагу — дорого стоит»? — «Туда и обратно, двести крон надо». Янко долго вычисляет, думает и потом радостно возвещает: «если я по две кроны в месяц буду откладывать, через десять лет поеду».

К лимону он относится с уважением, ибо хоть видал его, но редко. А мандарин и апельсин есть не осмеливается: а вдруг отравя. И решает: лучше дома у иконы положу. Картонный ангел вызывает взрыв веселья: вслед за Янкой пробрались ребяташки. Стоят не шевелясь: впереди мальчишки с теми же широкополыми шляпами, в тех же белых лосинах в обтяжку, что и взрослые: позади важные девочки — монисты, ожерелья, сережки, — точно у двадцатилетних. Все в диковинку — ведь орехов здесь почти не едят, шоколад — редкий гостинец, а заморские фрукты — особенно бананы — внушают суеверный ужас.

Я их раскладываю так, чтобы видно было всему многочисленному обществу, набившемуся даже в сени. Получившие что-нибудь немедленно бегут домой и приводят братьев и сестер.

Но «Иезуланек» (собственно Иисусик — так зовут рождественское «деревцо» — «стромечек») почти готов. Пора промышлять обед. Гордый близостью к знатым иностранцам, Янко гонит вон юных посетителей. Мы отправляемся в поход за продовольствием.

Народ тут бедный, едят скверно — похлебку, {92} ржаные лепешки, порою оленину или дичь. А для богатых — птица, масло, яйца. Мы, приезжие, не просто богатые, мы миллионеры. Нам подобает только курятина.

Где то на задворках, бегая по замерзшим лужам, Янко с товарищами ловят петушка, и, не поймав, загоняют кур в избу к какой то древней старухе. У нее темный платок на голове, серебряное ожерелье, пятирядное, рваная овчина на согнутых плечах. Из под овчины грязнеет рубака с красной тесьмой, некогда, в давние времена своей молодости бывшая белой. Бегают старуха за курой — разлетаются сборчатые, разноцветные юбки, топчут белые валенки. Но куру поймали. Крепко зажал ее в грязной руке торжествующий Янко.

Теперь за маслом к именитым и почтенным Майковым. Там нас ждет вся семья, знающая мою спутницу. Нас «опачить», приветствовать, явился даже и семидесятилетний дед. Он жалуется на упадок традиций: шляпы делаются все круглее и круглее, а ведь раньше как носили! и он показывает свою, почти треугольную, шляпу из дома свальной шерсти, — на ней тонкая малиновая тесьма. Ясными глазами смотрит он сквозь очки в жестяной оправе, скрепленной бечевкой, и рассказывает, что и говорить то народ стал хуже. Вот, например, место за избой, куда по нужде ходят, — стали называть «будар», а ведь все старики знают, что правильное ему название «будуар».

Вспомнил я этот самый оторопь наводящий «будуар», подле нашей избы у хлева, — вот так слово подходящее!

А подобных слов, французских и итальянских, в Важце множество. Колдунья — стрита, осел — сомаре, кладбище — симитар. Раньше еще больше было. Ведь здесь начало Карпатских ворот, через которые проходили с боем {93} племена и народы, ведь недалеко от Важца сохранились римские дороги.

От старухи в чепце, — семь рядов бус на ее белой рубаше с разлетающимися широкими рукавами, — получили масло, сбитое в

ледяной шар.

Теперь домой, растапливать печку, глотать дым, топтать окостенелыми ногами по земляному полу: двадцать градусов мороза.

А на другой день — сочельник. Елка украшена. Кура сварена: на три дня еды заготовлено. От мороза все трещит. На окнах — ледяная кора. Три часа — полумрак. Скоро тьма — и звезда. А когда зажжется звезда — трубит трубач: пришло Рождество. По всему селу идет в праздничном наряде — высокая шапка, расшитая цветами куртка, и полушубок расшит, и на белых валенках узоры и синие цветы. В одной руке посох — в другой труба. У каждого дома остановится, и в окно — трубный голос.

А за трубачами — коляда. Застучали, забухали у дверей. Я открыл скобку: валит морозный пар, разматывают платки с шеи какие то замерзшие фигуры. В сенях чистятся. И в избу — волхвы. У одного борода седая, шапка со звездой. У другого лицо в саже, красный балахон. У третьего золотом шитый плащ. А за ним девочки — петь.

Сперва славят:

«Пан Бог, дай вечер вжди веселый, найпрве пану господарови, потом теж таке и газдыне и челядке вшей его милей».

Выходит трубач и поет; «придут три короля с востока — поклонитесь им».

Тогда важно выступают короли. И короли поют: «мы сме три крале з Перске земи, пришли сме медзи тенто {94} лид незнамый. Звезда, ктера са нам бола указана, по вшех цестах (дорогах) нас провазела, так са нам дивна стала, же оне иным звездам подобна не бола»,

Потом каждый король поет свою песню. Самую лучшую слышали мы от черномазого волхва. Гордо выпятив грудь, постукивая жезлом, рекомендовал он себя:

«Я сам з места з Арабие краль, я мам од слунца спалену тварь. У нас никди зима нени. Ен при горце слудце пали».

Все песни очень старинные — с незапамятных времен. В одной из них говорится: «аж будем на турка бойовать». Но неожиданно, к концу врывается современность. Торжественный распев вдруг сменяется веселым, бойким мотивом: «еден танец затанцуйте, другу писень заспивайте» — объявляют короли — и пускаются в пляс, рассказывая: «одписал нам наш президент лист войный, же бы пришло триста хлапцу до войну» (В русском написании словацких песен невозможно, конечно, передать произношение и акцент, значительно отличающиеся от нашего. Песни Вацла привлекли к себе большое внимание чешских и словацких исследователей фольклора.).

Окончили короли — опять славу пропел хор, подошли девочки за «благодарностью»: в большой платок бросают яблоки, и пряники, и деньги.

После вечерней трапезы — гости: пришла «позреть» на зажженную елку вся семья хозяина моей избы.

Сама «газдына» красивая, статная, — и дети — Ганка светлоглазая, Маришка чернобровая, Сузанка русая. Есть еще и Нелка — двухлетняя, у нее воспаление легких, но все же в платок закутали, принесли, и Жошка — ей год, она хвора, немочь в глаза ударила. Ее принесли на испытание: увидит ли елку со свечами или точно слепая.

{95} У девчат юбки зашнурованы под грудями — тесно, тесно. На богатых десять юбок. У самых бедных — пять или шесть. Рубахи вышиты, безрукавка, вроде плахты, вся в узорах, гладью или накладными. В косах ленты. И ожерелья, бусы, серьги, браслеты.

У женщин волосы прической, голова повязана платками с чудесными узорами, краскам и замысловатости которых могли бы позавидовать парижские модницы.

Под окном парни поют веселые песни. Снег скрипит под ногами. Бьют часы церкви. Гости уходят. Елка дотушена; все апельсины розданы — оказались самым ценным подарком. Есть их никто не станет. Все положат «золотое яблоко» в красный угол.

В первый день Рождества — гуляем. По льду реки — туда, где за Вагом машет снежными ветвями седой кустарник да сосна. Воздух острый, пьяный, ни ветерка в синем небе, встают Татры белой грядой, сверкает солнце на голубеющем льду их вершин, чернеют хвойные леса на склонах гор, а выйдешь из котловины, поднимешься на холм — и внизу разбежались острые со скатами крыши важецких изб, и только изредка, среди соломы и теса мелькнет черепичная кровля.

В светлом высоком храме — служба. Огромные окна. Гремит орган. Над скамейкой — вешалки, и висят на их деревянных рогах шляпы с узкой малиновой тесьмой и шляпы с петушиными перьями — это с гор спустились охотники — и бараньи шапки пастухов. А если с хор взглянуть, налево — женщины: впереди старухи, темные платки, черные юбки в крапинах, позади цветником, — в малиновых, красных, синих юбках, с красными платочками на плечах и жидких волосах, — девчата и молодухи.

Проповедь простая: что растет в Палестине, как там {96} люди живут. Почти урок географии. Но все крестятся истово: все верят — иначе какой же смысл труда и забот, для чего одинаковые дни и столетия. Смиренной душой надеются на смутное бессмертие, потому что не по заслугам спасен будешь, а за веру. Простая вера, как люди, как эта скудная земля, как эта жизнь; древняя, точно эти избы, точно это Рождество, пришедшее из тысячелетий, вновь и вновь.

Вечером гулянка... Просят и меня. Несу угощение, как и все приглашенные: смесь спирта с водой и сахаром, прокипяченную на сильном огне. Эту «паленку» пьют большими жбанамы в круговую. Начинают с хозяина и почетных гостей, сидящих на лавках. Закуска — вяленая оленина и лепешки из гороховой муки. Изба, в которую позвали, полна народу. Говорим с серьезными людьми — о политике. «А кто в Польше то король?» спрашивает меня усатый хозяин. «Нет там короля» — говорит парубок в расшитой свитке. Но ему не верят. Идет большой спор. Какой то бывалый человек — видимо авторитет по иностранным делам — заявляет, что ему все доподлинно известно: он «до самой границы ходив, в мадьяршине жил, в неметчине жил.» В Польше король и злой, презлой.

Жбан гуляет. Паленка варится на докрасна раскаленной печи. Душно до одури. Девчата разуваяются — для танцев. Толпа обивается к стенам и лавкам — ловко и скоро пляшут босые девчата, сперва одни, потом с парнями. Мелькают голые ноги вокруг черных сапог и белых валенок, под визгливые звуки чорбы; а замолкнет чорба на коленях у кривого музыканта — загремит итальянка, закружится хоровой пляс, да так, что едва не погаснут два сальных огарка, освещающих избу. А в сенях пляшут мальчишки и девчонки, выгнанные из избы {97} за недостатком места, и шумят пьяные голоса под окном — ссорятся из-за хитрой Маришки татранские пастухи.

К полночи — конец. Степенные старики разнимают дерущихся, ведут домой перелившихся: жестока шестидесятиградусная горячая паленка.

Вот и Рождество прошло. Завтра опять — забота и работа, будни.

Идем домой через мост: два бревна, превратившихся в гигантскую сосульку. Огромный железный фонарь несет впереди нас сонный Янко. Ни зги не видать. Идем по льду, по снежным ухабам. Брешут псы. Теплом курятся овины, с гор рывками слетает колючий ветер, над Вагом встает туман — снег на деревьях — точно вишневый цвет весной.

Дома — стужа. Вода па столе замерзла. Пусто, темно, страшно. Мудрые книги, сверкающие города, — все это призрак, небыль. И что царства и короли, умная любовь, пышные слова! Вот она — простая правда. Зажглась звезда, прославили Христа, услышали молитву, забылись в вине и пляске, (порвались от труда — скудное веселье, убогое бытие, круговорот рождения и уничтожения, безымянность человеческая — среди этой ночи, среди гор, в этом молчании земли и беззвездного неба. И нет желаний: только скорее ощутить тепло под огромной периной, забыться, уснуть.

...А провожало меня множество народа. Янко нес чемодан. На станции с обожанием глядел на поезд. По две кроны в месяц, и через десять лет поедет и он в Прагу...

ГОРОД ЯНА ЖИЖКИ

Шестого июля 1415 года, мимо кладбища, на котором горели его книги, Яна Гуса провели са городские ворота Констанца: на лужайке был приготовлен большой костер из дерева и соломы.

Когда прах Гуса и пепел его сочинений были брошены в Рейн, король Сигизмунд и прелаты поздравляли друг друга с победой над ересью.

А через год уже по всей Чехии шли волнения и восстания: в Праге громили католические церкви и избивали священников, вельможи заключали союзы для охраны свободной веры и независимости нации; по всей Богемии и Моравии подымался народ против Рима и немцев, и на устах его было имя апостола, вышедшего из бедной крестьянской семьи — мученика Яна Гуса.

По всей южной Чехии ходили «проповедники слова божиего». Они говорили не только о причащении мирян телом и кровью Христовой из чаши, но и о справедливой жизни и новом церковном устройстве. По воскресным дням, на холмах собирались крестьяне, жадно ловившие речи о царствии божием и разделе земель; из окрестных местечек сбегались мелкие ремесленники; запыленные гонцы рассказывали о победах рыцаря Яна Жижки из Троцнова, разбившего королевские войска на {99} Малой Стране, о сборе гуситов под Прагой. И тут же священники призывали к оружию: мечом нужно было защищать истинную веру, надо было не допустить прихода в Чехию короля Сигизмунда, клятвопреступника, давшего охранную грамоту Гусу и затем предавшего его сожжению, надо было грозой обрушиться на католиков, без пощады истреблявших чешских «чашников»: до двух тысяч гуситов убили рудокопы Кутной Горы в заброшенных шахтах. И длинноусые крестьяне, потрясая цепями и дубинами, цели гимны и псалмы, громом летевшие по засыпающим полям. И сияние заката возвещало новый день новой жизни.

Но война разгоралась, по дорогам грохотали телеги: спешила помощь к одноглазому Жижке — под Прагу и Пильзен.

Своя крепость, свой город нужны были гуситам. Сперва огромные их лагеря были разбиты у местечка Устья, затем был выбран высокий холм, на котором от прежних времен остались разрушенные стены. Здесь решено было основать гуситский табор, на этом новом Таборе, где должна была во славу Христа вырасти республика братьев и сестер. Единый закон правды и Евангелия должен был управлять ею: в бедности, христианской коммуной божиих воинов собирались жить табориты.

Так был основан город Табор, и уже в 1420 г., разбивая неприятеля на своем пути, пришел сюда с войском Жижка. Вместе с Николаем Гусским и двумя помощниками стал он во главе Табора. Опытный полководец, участник многих войн (под Грюнвальдом лишился он глаза) он тотчас же принялся укреплять город. Двойные стены, башни и бастионы, ров и вал окружили бедные деревянные домики и узкие улочки. В них, не переставая, стучал молот и топор: кузнецы и плотники работали над {100} жижковскими тачанками — телегами, в кузницах ковали пики, мечи и крюки для шестов.

Из Табора водил Жижка свои грозные отряды в бой. Если вражеское войско было многочисленным, телеги составлялись кругом, за которым, точно за стеной, располагались табориты. Каждый воз, запряженный двумя-тремя парами коней, вмещал десять человек, а иногда и пушку. Десятью возами командовал десятник. Бока телеги опускались, точно подъемный мост, неожиданно открывая бойцов. Запрягать воз можно было с двух сторон, особые приспособления, цепи и крюки соединяли телеги одна с другой в извивающуюся деревянную линию. За ней табориты чувствовали себя непобедимыми.

Когда немецкие князья под предводительством Сигизмунда, крестовым походом пошли против гуситов, королевское войско осадило Табор. Жижка был тогда в Праге, окруженный стотысячной армией Сигизмунда. Он ночью выслал Николая Гусского на помощь таборитам — и с крестным знаменем и пением гимнов мужики с цепями и копьями раскалывали черепа немецким крестоносцам, в то время, как из Таборских ворот осажденные производили вылазку.

Четыре года по всей Чехии разъезжали страшные гуситские телеги: они то окружали неприятеля и истребляли его в кольце возов, то заманивали его в узкие проходы, составленные из телег. Огнем и мечем шли по стране табориты — не знали пощады грозные «божий воины», разорял города и сжигал замки кривой Жижка — и порой в Захваченных местностях не оставалось в живых ни одного мужчины.

Когда табориты преследовали разбитого неприятеля, они баграми сбрасывали всадников с лошадей: пехотинцы дубинами и кольями приканчивали упавших.

{101} При осаде замка Раби Жижка потерял и второй глаз. Но и слепой, руководил он битвами и держал в страхе всю Богемию. Нестройные толпы фанатичных крестьян, которых он вооружил и обучил военному делу, повиновались ему беспрекословно. Булава Жижки творила закон и расправу, и в войске таборитов железная дисциплина спаивала неистовых бойцов.

Все новые толпы приходили к Табору, рос и креп город, отражая осады и пугая врагов. Много изменилось в нем за первые годы существования, исчезли коммунизм и умеренность жизни, купцы начали строить дома и лавки, корчмари занялись пивоварением. Но суровый дух Жижки тяготел над городом даже и тогда, когда чума унесла непобедимого полководца. Еще целых десять лет после его смерти воевали табориты, и вновь и вновь из городских ворот выходили воины — на помощь братьям, покорившим свои и чужие земли и обращавшим в бегство католические отряды одним своим грозным видом и грохочущим пением военного гимна.

Но когда окончилось гуситское движение, нанесшее удар всей феодальной Европе и римской церкви, Табор затих. Он жил воспоминаниями в кольце своих разрушавшихся стен. Столетия проходили мимо него, но он уже не пытался принимать участия в событиях. Устав от взрыва страстей, веры и ненависти, зажженного на его холме, Табор мирно дремал — и только во сне видел он опять лица, опаленные боем, всклокоченные бороды жижковских солдат и их острые шлемы.

Сейчас ничего почти не осталось в Таборе от времен гуситских войн. Пали башни, разрушены укрепления и ворота, и только надписи на стенах домов отмечают прежние границы бывшего града «сынов божиих».

На чудесной городской площади царит ренессанс; {102} завитками идут высокие фронтоны домов, башенки и уступы ратуши поднимаются крепостными зубцами, в ее дворе — лоджия, за площадками лестниц — сводчатые проходы к залам, из окон которых видны округлые щиты собора и «sgrafitto» на стенах дворцов.

В небольшой комнате музея при ратуше, где все посвящено героической эпохе таборской республики, есть изображение домика, в котором вырос Ян из Гусинца: Гусом или Гусем прозвали его школьные товарищи. У него острая бородка, тонкий нос и светлые глаза ученого и мечтателя. Их взгляд скользит поверх вещей и людей — точно видя ту «золотую тропу», по которой в молодости любил ходить молодой священник.

И быть может во время этих прогулок думал он об иной, золотой стезе, по которой он призван повести свой народ, несмотря на все препятствия — потому что должен быть исполнен закон любви к правде.

В соседних залах — темная броня Жижки, богатырский его шлем, огромный пистолет. Он сражался саблей и булавой. Он мечтал о золотом пути к Богу — и расчищал его мечом. Во славу Христа приказывал он втыкать острые гвозди в цепи: он твердо знал истину, сам Господь водил его карающей рукой — попранную правду омывал он кровью.

И тут же пики и трезубцы, щиты с порыжелыми пятнами, боевые возы на огромных колесах, и послания на пергаменте с висящими под ними печатями, глубокими, как чаша.

В иных городах, выходя из музеев, сразу перескакиваешь через несколько веков — прямо в бойкую современность. А в Таборе, перейдя порог, отделяющий комнату Жижки от городской площади, стареешь только на одно столетие.

{103} В боковых улочках, где нет вывесок — недвижно застыла эпоха возрождения. Здесь дома построены по старинному образцу, и над неожиданными сводами едва заметно маленькое окошечко. И улицы все кривые, запутанные: такими были они от основания города, чтоб легче было в них сражаться на случай вторжения врага. Над входами — розетки ренессанса, редкая раковина барокко, и нелепые пристройки, изящные фонари — и вдруг — за углом — огонь, и дым, и молот, и полуголый кузнец у раскаленного горна.

Старый свой город любят жители Табора, они сохраняют эти дома с галереями и овальными окнами на чердаках, и на главной улице есть даже дома, реставрированные владельцами — с такими же фресками, как и в XVII столетии. «Разрушала меня вода и мороз, гласит надпись на одном из этих домов, жег огонь — но меня восстановила в прежнем виде добрая воля и искусство».

Конечно, есть и в Таборе улица с банками и магазинами, и ночью на ней горят фонари — но как то перестаешь чувствовать современность в этом и сонном и тихом городе. Он не тяготит памятниками прошлого — но древен его чуть тяжелый и дремотный воздух. И незаметно дома, построенные десять лет тому назад, повторяют все те же башенки и украшения XVI столетия. И хотя мощены улицы, поднимающиеся в гору, — нет на них тротуаров, и по одной дороге идут пешие и ездят возы и кареты.

В прорезы улиц видны поля и холмы, и на закате тянет оттуда полынью, гречихой — и легким холодком.

Я сидел в низкой зале гостиницы у «Золотого Льва», над воротами которой в каменной раме — богоматерь. В раскрытую дверь видел я двор — привязанные к {104} телегам, кони ели сено, мужик с кнутом бранился с торговцами, женщина, сидя на возу, кормила грудью ребенка.

Откинувшись на деревянной скамье, за соседним столом старик с длинными, опущенными вниз усами, курил длинную трубку перед жбаном пива. У него были жилистые, узловатые руки с огромными пальцами, на красной шее рытвинами пересекались морщины. На загорелый лоб падали седеющие волосы. Я знаю, он мог бы сесть в музейную телегу и снова взмахнуть дубовой палицей, окованной железом. И старуха за другим столом была в таком же платке, в каком матери ходили благословлять бойцов. И молодой человек с бычьим лбом, и мистр резник в запачканном балахоне, все они были не моими современниками.

И я уж точно знал, что румяный хозяин в рубашке и фартуке с удивлением будет смотреть на бумажку, которую я суну для расплаты, и громким голосом потребует серебряных грошей, вычеканенных в Пильзне по приказу Жижки. Воин положит мне на плечо железную перчатку, все заметят мой диковинный костюм и чужую речь и по площади, охраняемой часовыми с алебардами, как вражеского шпиона, поведут меня к старинному входу городской темницы.

НИЖНЕЕ ЦАРСТВО

В тридцати километрах от Брна «Моравский Крас» теряет свою ласковость: холмы превращаются в горы, камни — в скалы, небо завешено лесами. Ущелье узко, дремуче, дорога бешено крутит, утесы — сейчас обрушатся, сосны прыгают с откосов, лес очерился зубьями копий — и мы летим все ниже, проваливаемся в какую то зловещую воронку, до дна которой не доходит солнце. Потом, между страшных скал — впадина, слышно, как за колючими вершинами ударяет гром. В сером камне гор — зияния. Эго входы в пещеры Мацохи.

В первую — Масарикову, открытую немного лет тому назад, — ведут досчатые мостки. Под ними — река, пропадаящая под горой. Под сводами пещеры — плоскодонная лодка. Проводник рукою отталкивается от мокрых стен, — и в подземной тишине, в узком коридоре мы плывем по ледяным водам Пинквы.

От желтого света лампочек еще страшнее, еще призрачнее эти гнетущие своды: то и дело раздается окрик гребца — и мы покорно нагибаем головы.

Стены, с которых свисают гигантские сталактиты — в морщинах, точно кожа мамонта. На поворотах — острые утесы разевают чудовищные челюсти. Потом вода расширяется в озеро, своды возносятся — и сверху — низвержение капель, превратившихся в блестящий камень, бесчисленные щупальца водяного чудовища.

{106} А с земли им навстречу тянутся сталагмиты: на каждом круглится тускнеющая, отвердевающая влага. Одни поднимаются неживым лесом, другие едва возвышаются. Над ними нависают известковые сосульки — длинные, как пики или уродливые, как искривленные корни, порою мощные, точно готические колонны.

В одной высокой пещере с большим озером сталактиты спускаются ровным рядом толстых трубок. Они, как орган. И пилястрами храма восходят сталагмиты. Здесь — древность. В пятнадцать лет на один миллиметр увеличивается сталактит. Пятьдесят тысяч лет тому назад начала капать вода, каменя известковым пальцем. И через семь тысяч лет этот смешной сталагмитовый росток, показавшийся из земли, дойдет до вышины не моего колена.

И опять ладья плывет неслышно в темном ходе туннеля. Двойным сводом тяготеют каменный потолок и эта страшная подземная тишина. От холода и сырости коченеет тело; вода мертва, черна бездонно: семнадцать метров глубина Пинквы. Равномерно, безустанно где то впереди падают капли.

Таким, должно быть, представляли себе «посмертное блуждание души» те, кто верили в нижнее царство Аида.

Точно Стикс, течет подземная река под пещерами Мацохи, — и вот сейчас черные ее воды превратятся в течение Ахерона, грозный перевозчик встанет на ладье, — и к берегу, откуда нет возврата, разгневанным веслом будет гнать упирающиеся тени.

Наш Харон медленно гребет лопаточкой. Весь мир перестал существовать: только есть эта душная узость, эта сдавленность огромных скал, темная сырость смерти — без конца мы будем плыть по реке времен, по Дантовскому *triste ruscel*, горестному потоку.

{107} И снова — раздвигаются скалы, в великолепную пещеру вливается лодка, и мы выходим из нее, чтобы обойти нагромождения сталагмитов и обломков.

Бледно светят электрические лампочки. В углах, в гротах засады теней. Когда лампочки гаснут, одна за другой, тени разом вырываются, наводняют победными легионами тьмы.

Впереди — как занавес, в морщинах и складках, желтовато-белая стена сталактита: а под ней, вместо ramпы, поле, блестящее круглыми головками. Возле — в линию — прямые сталагмиты, сверкающие, точно мрамор памятников на кладбище. И у зловещего прохода реки известковый меч угрожает обращенным к низу острием. Повсюду — странные фигуры, сказочные очертания; когда потухают все лампочки, кроме одной, оставленной за целой семьей сталактитов; — в полутьме прозрачные багровеют мечи, руки и колонны — кровавый отсвет падает на змеиную падь реки — и она уже не Стикс, а Флегетон, вытекающий из ада леса самоубийц, из озера кипящей крови, о которой варятся те, кто сам в жизни пролил кровь ближнего.

Еще один поворот под утесом — последнее плавание. Издали желтеет зрачок лампы. Круг света шире, скалы виднее и злее, лодка скользит беззвучно, быстро — безгласно мчимся мы до горьким водам Леты, земные тревоги растворились в пещерной влаге. О чем вспоминать людям во мраке этих стен, прорытых маленькой рекой еще до рождения человечества?

Час длится вечно. Мы ныряем в самый узкий и темный туннель, и почему то кажется, что за ним, что за этой выросшей вдруг скалой — последний срыв — и стремглав обрушится лодка в бездонную черную глубь. И в самом деле: лодка вздрагивает, летит — и ударяется о {108} доски... Через железный турникет входа виден ослепительный праздник дня, необычайное великолепие красок. И не веришь раскатам грома: неужели такой свет возможен под облаками, в бурю.

Но спешит проводник: держась за скользкие перила, идем опять внутрь горы, в знаменитые пещеры Мацохи. В них нет реки, но постоянно сочатся и пробиваются ручьи. Вода выела камень, пробила ходы, обточила эти глыбы земли, обрушила эти скалы, придала дикую мрачность этим сплетениям сталактитов, соединила их галереями и арками, изгибающимися, точно венецианское Риальто. То и дело расширяется узкий туннель, по которому с опаской, гуськом идут люди, и гигантские пещеры раскрываются в сталактическом матовом блеске. От исполинских кенгуру — динозавров, от хвостатых ихтиозавров спасались здесь мохнатые люди в шкурах. Под этими вечно сырыми сводами испуганно внимали они зыку мастодонта и змеиному свисту птицы-ящера. Из хвороста и сучьев разводили они огонь, и тени безобразный танец плясали на стенах, из которых вытягивались сталактитовые персты и фигуры. Из пугающей темноты пещеры старики плыли в ледяной мрак нижнего царства, — и кости тех, кто умер в каменный век, были найдены в этой влажной земле.

Выход из Мацохи — в скале. Под ней пропасть, стесненная с боков отвесными громадами в полтора метра вышины. Это дно Мацохи: и здесь была некогда пещера, но с незапамятных времен провалился ее свод. Внизу, в узкой воронке хаос камней, обломков, известковых скал: циклопы дрались здесь необъятными палицами.

Скудный мох ползет по стенам срыва, под скалой — озеро

необыкновенного цвета: в синь превращается отраженная зелень скал. Из озера — выбегает река, водоворотом скрываясь в туннеле под землей.

{109} Над сближенными вершинами с зазубренным лесом, узкая щель неба, — и в серо-темном — разрывы молний. Сейчас под облаками появится тень птеродактиля, ищущего убежища на дне пропасти.

Назад — тот же путь. Скользящие ходы, уступающая ноге земля, пугающая фантастика сталактитовых сокровищ, невероятные пещеры, в которых неловко, неуютно сознавать себя человеком: каждая скала молчит с тысячелетним презрением, в споре воды и голосов побеждают невозмутимые, миллионные капли, — ни о каких Наполеонах или революциях знать не желают маленькие сталагмиты: у них размеренная поступь, торопиться некуда, один шаг в сто столетий.

И опять все то, чего бежит взор, чего боимся: тьма, равнодушный лет времени, и сумасшедшее безгласие могилы, и раскрытая, душная пасть земли.

Потом автомобиль, горы расступаются, пересекаются нехотя: нельзя живым выпустить того, кто плывал по водам Стикса.

Кручи, обрывы — точно в Вагнеровских трагедиях. Тщетно ждешь полета валькирий над драконьим лесом. И повороты, подъемы, рябь спуска — шоссе, первое мелькание домов: уже протяжными голосами паровозов стонет станция.

Румяные девочки с косичками, и гимназисты, старающиеся быть вежливыми и говорить басом, пьют лимонад после утомительной экскурсии. Пыхтящие автобусы привезли их с Мацохи. У одного мальчика — граммофон в кожаной коробке. Мы слушаем танцы и романсы в дымной зале ресторана. За окнами шумит настоящая река.. Уже вечер — пыльные люстры мигают тусклыми лампочками. Мы ждем поезда — под хрип граммофонной музыки.

КАЗЕМАТЫ ШПИЛЬБЕРГА

В ночь на 30 августа 1746 г. в ворота крепости Шпильберга у Брна въехала венская карета, окруженная многочисленными всадниками. В первом дворе ее встретили комендант и его подчиненные. При свете факелов с любопытством и опаской смотрели они на человека гигантского роста, выходявшего, сгибаясь, из кареты. У него было надменное лицо, опаленное пороховым взрывом, и повелительные жесты. Не отвечая на приветствия, он огляделся, словно ожидая воинских почестей. Стража окружила его. Барона Франца фон Тренка, вождя пандуров и любимца Марии Терезии, ждал каземат и пожизненное заключение.

Отец Франца Тренка был прусский дворянин, перешедший на службу к Австрии и принявший католицизм. Сыну он оставил крупное состояние, неукротимый нрав и поместья в Славонии.

Недаром Франц родился в Калабрии: в нем текла буйная кровь итальянского кондотьера, разгоряченная германским упорством. В семнадцать лет он был сложившимся человеком: диким в страстях, хитрым и неотступным в осуществлении своих прихотей. Надменный и необузданный, он не знал преград своим желаниям. А желаний была целая буря: славы и приключений, богатства, {111} власти, женщин — всего в мире жаждал молодой барон Тренк. Блестящий ум, недурное образование, знание языков соединялись у него со звериной жестокостью, мстительностью и припадками кровожадной ярости. Он презирал чужие жизни, но, не задумываясь, рисковал собственной.

Непомерности страстей соответствовала и чудовищная физическая сила: в битвах этот гигант одним ударом меча рубил вражьи головы, и его племянник описывает, как Тренк усмирил возмущившийся полк своих пандуров, изрубив в несколько минут десятки солдат.

Из австрийской армии, в которой он не мог удержаться из-за своего характера, Тренк перешел на службу в Россию. Он принял участие в турецкой кампании, где выказал себя беспощадным воякой. Но он никак не мог примириться с дисциплиной и чинопочитанием. За избиение своего генерала и другие «возмутительные деяния», он был дважды приговорен к смерти. Тренка постоянно спасал его друг и покровитель, Миних. Но в Киеве австрийского барона бросили в темницу, а затем приказали покинуть Россию.

Ему было двадцать шесть лет, когда он вернулся в свои владения. Охоты, расправы с крепостными и редкие поединки скоро ему надоели. Жена умерла — из-за его же неосторожности, — обзаводиться семьей он не желал. От скуки он начал борьбу с бандитами, опустошавшими край, и вскоре увидал, что это нелегкая задача. Тогда он организовал отряд пандуров, набрав в него людей, которые пришлись ему по сердцу. Почти два года с беспримерной жестокостью воевал он с разбойниками — и очистил от них всю Кроацию: половину вырезал, а остальных принял к себе на службу.

Когда в 1742 г. началась война за австрийское наследие, Тренк принял в ней живейшее участие. Его {112} дикий полк причинял неприятелю не меньше забот, чем вся австрийская армия.

И для Тренка и для его людей война была удобным случаем для грабежа и убийства — и они предпочитали не брать пленных, не щадили женщин в разоренных деревнях и систематически нападали на немецкие обозы. После каждой битвы Тренк посылал захваченное в свои кроатские замки.

В 1745 году, во время наступления Фридриха Великого, Тренк нападает на лагерь пруссаков во время битвы и захватывает огромную добычу, в том числе и серебро короля. Но сражение проиграно австрийцами, и в Вене говорят, что это вина Тренка: он грабил в по время, когда надо было драться. Распространяются даже слухи, будто он захватил в плен самого Фридриха Водимого, но отпустил его за огромный выкуп.

До тех пор Тренк был одним из любимцев Марии Терезии (народная молва ошибочно говорила даже о любви к нему императрицы), вся Вена знала легендарного героя, он играл видную роль при дворе и в обществе. Но после битвы при Сорау все меняется. Враги пользуются всеми слухами, чтобы погубить ненавистного Тренка. Его непомерное богатство вызывает зависть, а его грубость и надменность создают десятки оскорбленных, мечтающих о мести. Самые нелепые обвинения возводятся на Тренка. Против него возбуждено дисциплинарное дело: он не признает никаких судов. Императрица подписывает приказ об его аресте: в тот же вечер он с блеском появляется в театре и садится против той ложи, где находится Мария-Терезия. Тогда его арестовывают, передают военному суду, накладывают секвестр на его состояние. Газетные объявления приглашают всех, желающих подать жалобу на Тренка, явиться в суд: каждому истцу обещан дукат в день на все время процесса. Конечно, {113} являются толпы жалобщиков, и дукаты текут в их карманы из состояния Тренка.

В 1746 году в Австрию приезжает его племянник, барон Фридрих Тренк, представитель прусской ветви рода, красавец и авантюрист, известный своей связью с сестрой прусского короля, принцессой Амелией. Эта любовь навлекла на него гнев Фридриха Великого, заточение и преследования. После бегства из крепости Глац и невероятных приключений, Фридрих явился в Вену и живо заинтересовался делом дяди. В своих воспоминаниях Фридрих Тренк утверждает, будто он подкупил судей и передал им тридцать тысяч флоринов, полученных им для этой цели от барона Франца. Но очевидно эти денежные отношения были не так просты: племянник, как и дядя, отличался неразборчивостью в средствах и презрением к общепринятой морали. Во всяком случае они поссорились, Фридрих Тренк уехал в Голландию: ему предстояла фантастическая карьера в России, бурная жизнь, десятилетнее заключение в крепости и смерть на гильотине, в Париже.

После отъезда племянника, дело Франца Тренка было окончательно проиграно. Его обвиняли в сожжении городов, в святотатстве (он грабил церкви и лил золото и серебро из священной утвари), в убийствах и измене. Мария-Терезия заявила, что он заслуживает смерти, но заменила ее пожизненным заключением в Шпильберге.

Как раз в это время старая крепость у Брна, видевшая в своих стенах королей и императоров, выдержавшая военные бури средневековья и осаду шведов в эпоху тридцатилетней война, была

превращена в огромное узилище. Еще и раньше она служила местом заключения, а к 1742 г. ее подвалы и каменные мешки были окончательно оборудованы для приема уголовных и политических {114} преступников. В те дни, когда барон Тренк был привезен в Шпильберг, в казематах уже томилось множество несчастных.

Тренку в виде исключения была отведена камера, у потолка которой, в тесном своде, было окошечко, выходившее в первый двор. Здесь была также и печь. Арестованному разрешалась прогулка раз в год. Каждое воскресенье его водили на мессу в белую, холодную часовню. Тогда он должен был проходить коридором, в котором слышны были стоны заключенных.

Нижние казематы были под землей. В них никогда не доходил свет. Двери в камеры были так низки, что войти в них можно было, сгибаясь в три погибели. Преступников приковывали к стене за руку, ногу и шею или пояс. Мыши и мокрицы бегали по этим живым трупам. Невыносимый смрад от человеческих испражнений и разлагающегося тела отравлял сырой воздух. Обыкновенно после шести недель пребывания в нижних казематах даже самые крепкие люди слепли и глохли, а на третий месяц умирали.

В одной большой камере все заключенные были прикованы к длинной цепи, конец которой через отверстие в стене проходил в соседнюю кордегардию: через каждые четверть часа особо назначенные для этого тюремщики дергали цепь, чтобы помешать заснуть прикованным. Это была пытка бессонницей.

Недалеко от этой камеры и поднесь еще сохранилась небольшая темная келья с пятью нишами в стенах: сюда за шею и талию приковывали, вернее замуровывали неверных жен — и здесь они погибали от голода.

В застенке — колеса и блоки, дыбы, лестница, на которой растягивали пытаемых. Тем, кто висел на дыбе, {115} привешивали к ногам гири — в 25 и 36 фунтов. Упорствующим надевали на голову раскаленный обруч, кричавшим чересчур громко в рот вставляли испанский кляп с перцем. За печью, в которой раскаливали щипцы — дверь — за ней яма, куда сбрасывали трупы.

Барона Тренка провели, вероятно, и мимо маленьких клетушек в нижнем подвале, в потолке которых было особое отверстие: через него на голову скованного арестанта медленно лили ледяную воду — до сумасшествия.

Шпильберг сломил Франца фон Тренка. Ему было лишь 38 лет, когда в 1749 г. он заболел и почувствовал приближение смерти. Императрица велела смягчить суровый режим арестанта. Одетый в монашескую рясу, с тонзурой на голове, Тренк исповедался в своих грехах в присутствии офицеров гарнизона и предсказал, что умрет 4-го октября.

В этот день, по рассказу племянника, он все утро молился, стоя на коленях. В полдень он посмотрел на часы и произнес: «Слава Богу, последний час приближается». Присутствующие недоверчиво улыбались. Его лицо побледнело. Он сел за стол, опустил голову на руки и зашептал молитву. Не двигаясь, с открытыми глазами, он просидел так до полудня. Раздалось двенадцать ударов. Он не шевелился. С ним заговорили: он был мертв.

Его воля была выполнена: его положили в гроб вместе с цепями и похоронили в Брне в часовне Капуцинского храма, которому он оставил большие деньги для того, чтобы каждую пятницу о нем служили заупокойную обедню. Ее и по сей день служат благочестивые монахи, а в часовне при Шпильберге висит портрет Тренка, сделанный в прошлом столетии. Он изображен там гигантом с белокурыми усами и упорным ртом. На нем шаровары, за {116} поясом турецкая сабля, кинжал и пистолеты. Тяжело и холодно смотрят ого светлые глаза, надменен поворот головы, и нежная белая рука едва касается широкого пояса.

(дополнение; ldn-knigi)



Franz Freiherr von der Trenck.
K. K. Obrist

После беседы с лордом Говартом, заявившим, что он предпочитает быть повешенным в Англии, чем быть заключенным в тюрьму в Австрии, Иосиф II посетил Шпильберг и велел на час запереть себя в одном из казематов, где заживо погребали преступников. Этого часа было достаточно для австрийского императора, чтобы немедленно издать приказ о закрытии нижних казематов и переводе заключенных в верхние — расположенные в ряд с камерой Тренка.

Как раз накануне французской революции (в 1788 г.) произошло это смягчение режима в австрийской Бастилии. Шпильберг все еще оставался крепостью. Но в 1809 г. Наполеон взорвал крепостные сооружения — и с тех пор Шпильберг стал исключительно тюрьмой. Его окружили глубокие рвы и стены, вокруг холма, на котором он возвышался, была расположена стража. Со всех концов империи в Шпильберг свозили преступников — и прежде всего тех, кто в годы владычества Священного Союза, поддерживавшего штыками троны и алтари, осмеливался мечтать о свободе человека и независимости народов.

Когда в Италии началось движение карбонаров, из Неаполя и Венеции, из Милана и Модены стали прибывать в Шпильберг схваченные Австрией заговорщики. Неаполитанская красавица графиня Аделаида Филанджиери первая вступила под своды Шпильберга в 1816 г. Ей позволили иметь служанку в соседней камере и даже разрешили спать на

подушке. Подобных милостей уже не оказывали тем, кто вскоре за ней последовал.

{117} В 1820 и 1821 г. после революции в Неаполитанском королевстве и либерального движения в Пьемонте, по всей северной Италии начались аресты молодых карбонаров. Они готовили восстание против Австрии во имя независимости Италии. Порабощенную родину на своем языке заговорщиков называли они лесом, наполненным волками, и хотели разжечь уголь (carbone), чтобы огнем и дымом отогнать диких зверей. Для этого и собирались «добрые братья» в своих кружках, носивших имя хижин или «лавок для продажи угля».

Большинство арестованных было приговорено к смертной казни, замененной потом заключением в Шпильберге или в Люблянах.

В Милане приговор читали у виселицы, и палач прибил его к перекладине. Три дня стояла виселица, и народ повторял имена осужденных, шепотом передавая о том, как бежал граф Луиджи Порро и как не захотел спастись бегством граф Гонфалоньери: ему и Адриани читали приговор на площади перед дворцом правосудия. Жена, которую страстно любил Гонфалоньери, из толпы смотрела на мужа, цепями прикованного к стене дворца.

А в Венеции приговор читали на Пьяцетта, возле площади св. Марка. С непокрытой головой слушал его поэт Сильвио Пеллико, страстный деятель революции Пьетро Марончелли и его друзья. Одного не хватало — учителя Ресси: он умер за два дня до приговора, но император приказал, чтобы его имя было включено в судебную бумагу.

В марте 1822 года в двух возках, окруженных конной стражей, Пеллико и его товарищи отправились в путь. У венецианской границы, на заре, они увидели карету, следовавшую на некотором расстоянии за их возками: из окошечка ее развевался белый платок. Так {118} простилась с Пеллико его невеста, артистка Тереза Маркиони, которой никогда он больше не видел.

В каземат, в котором поместили Пеллико, свет едва проникал из маленького, забранного решеткой окошечка, пробитого в толстой стене у самого потолка: он выходил на двор в уровень с землей. От сырости, от огромной цепи, к которой он был прикован за ногу, от спанья на доске, положенной на деревянные козла, от ужасной пищи Пеллико вскоре заболел. В промежутках между тремя обысками, которым ежедневно подвергался и каземат и арестант, он в лихорадке бредил, сочинял стихи и вспоминал свою тюрьму под свинцовой крышей палаццо Дожей. Там из окна он видел каналы и людей, туда приходили на свидание друзья. Здесь не было никого, кроме старого тюремщика, которого по насмешке судьбы звали как и творца «Дон Карлоса» и «Разбойников» — Шиллером.

Когда Пеллико оказался при смерти, его перевели из подвала в первый этаж. И здесь было мало света: но вскарабкавшись по стене и схватившись руками за решетку, узник видел долину, крыши Брно и кладбище Шпильберга. Ему удалось даже разговаривать с заключенным в соседней камере графом Антонио Оробони, в уме которого карбонаризм и христианство сливались в единую религию. Вскоре Оробони упокоился на том самом кладбище, которое он прежде видел из своего оконца.

Родные и друзья неустанно хлопотали за Пеллико, и ему были разрешены маленькие льготы: с 1825 года по вечерам, в коридоре, за «глазком» двери прикрепляли маслянную плошку, и се неверное пламя

хоть чуточку рассеивало крошечный мрак камеры.

На пятый год заключения Пеллико дали подушку, — вместе с кувшином, столом и досками для спанья составляла она имущество узника.

{119} На прогулках или от тюремщиков, с которыми он сдружился, Пеллико узнавал, вероятно, о новоприбывших и умерших: о приезде Тривульцио или Гонфалоньери, о смерти Вилла, погибшего, несмотря на атлетическое сложение.

Все узники были так больны, что начальство решило поместить их по двое в каждой камере: таким образом они могли помогать друг другу. Особенно мучился заключенный вместе с Пеллико Марончелли: ему отрезали ногу, все тело его было покрыто ранами. Через несколько лет после освобождения он сошел с ума, и умер в Нью Йорке слепым и безумцем.

Пеллико освободили в тот самый 1830 год, когда от горя умерла жена Гонфалоньери, Тереза Казати.

Он вышел из тюрьмы сломленным и разбитым, вспоминая с умилением доброго Шиллера и чехов Краля и аббата Врбу, с которыми он сдружился. Он думал теперь уже не о борьбе, а о Боге, о смирении и проповедывал, законы прощения и милосердия.

Опять полицейская карета везла итальянцев по дорогам Моравии — к Вене, а потом дальше — через горы — к венецианской равнине — но за десять лет тюрьмы все так изменилось, что они не узнавали ни людей, ни городов, и отчужденность жизни была для них страшнее гробового однообразия шпильберговских казематов.

А вместо освобожденных уже везли к брненскому холму новых заговорщиков — членов «Молодой Италии». И из той самой камеры, где был Пеллико, новые узники видели, как на тюремном кладбище роют могилы для Моретти и Альбертини. А в 1845 г., когда население Шпильберга увеличилось 150 польскими революционерами, был похоронен еще один итальянец — Винценти.

Через десять лет закончилась история Шпильберга **{120}** — тюрьмы. Шпильберг был превращен в казарму. Только во время войны 1914-1918 г. г. в нем содержались чехи, арестованные за борьбу в пользу независимости. Но их камеры были в здании казармы.

В огромном парке, разросшемся сейчас на склонах Шпильберга, на памятнике с римской волчицей начертаны имена итальянских мучеников. А на крепостной стене высечены слова о том, что из этих темниц, освященное мученичеством, пришло итальянское освобождение. И памятник, и мраморные доски, и комната где хранятся портреты, документы, кувшин Пеллико и доски его ложа — все это было создано теперь, когда пришло и чешское возрождение и когда твердыня австрийского владычества превратилась в исторический музей.

По расчищенным аллеям парка ездят детские колясочки. Школьники играют вокруг клумб с пестрыми астрами и пионами. Над крышами Брна возвышается колокольня Капуцинского храма, в котором погребен Тренк.

Через крепостные ворота — по узкой лестнице — к казематам, в первый двор. Сторож со связкой огромных ключей ждет, как тюремщик. Кривое дерево, мучительно изогнувшись, умирает перед узкими отверстиями тюремных окон.

Скрипит дверь, по выщербленным ступеням спускаемся вниз,
проводник зажигает фонарь, затхлой тьмой охватывают нас
шпильберговские казематы.

ПОЛЕ СЛАВЫ

Le cavalier promène un sabre qui flamboie Sur ies
foules sans nom que sa monture broie Et parcourt,
comme un prince, inspectant sa maison
Le cimetière immense et froid sans horizon..

Baudelaire.

Закат был облачный, темно кровавый. От Понетовиц, по обе стороны дороги, холмы выгибали свои широкие полосатые спины. Я шел мимо распаханых полей. Между редких деревьев все выше и все ближе становилась колокольня на Працене. Босая девочка гнала хворостиной стадо глупых белых гусей. Мальчишки бегали друг за другом у самой церковной ограды. Мимо стены сельского кладбища, заросшей тропинкой подымался я в гору — и после часового пути, над дорогой встал огромный памятник «Могилы мира».

На самом верху Працена стоит часовня. От широкого ее основания, сужаясь к вершине, бегут стены — и вверху — на черной маковке — крест старинного образца. Лампады чуть тлеют за решеткой часовни. Застыли статуи на вытянутых ее краях. И надписи на разных языках говорят о тысячах французов, русских и австрийцев, похороненных и на этой высоте, и там, в долине, {122} куда с соседних холмов шли наполеоновские полки. Вон горка, где утром стоял Наполеон, пытаюсь разглядеть — что там, внизу, в тумане. Отсюда, из-за этого холма на котором крест венчает сейчас поминальную часовню — ослепительное и прекрасное вошло солнце Аустерлица — и первые его лучи засверкали на штыках дивизий Удино и Сент-Илера.

Пушка, из которой был дан сигнал к наступлению русским колоннам Дохтурова и Ланжерона, стояла возле Праценской церкви — и по той же дороге, по которой я пришел сюда, в тумане долины, невидимые друг другу, двигались союзные и французские войска.

На этих холмах, на этих полях двести тысяч человек дрались с раннего утра до полудня. Здесь решалась судьба Наполеона — императора, как на полях Маренго — Наполеона-Консула.

Когда все было кончено, когда двенадцать тысяч трупов лежало на праценских склонах, в долине Уезда, между озерами Блажовиц и Иржиковиц, Наполеон в сером плаще проехал к городу Славкову, который немцы называли Аустерлицом. За ним везли его железную походную кровать. В корчме Гандиц, у Лишны, ночевал он на ней в ночь перед сражением. А в ночь после победы, в замке графа Кауница, в Славкове на пышном ложе спал он в комнате с расписными потолками и высокими окнами.

На одной школьной выставке, — в Брне, я видел сочинение двенадцатилетней чешской девочки о битве при Аустерлице. «2-го декабря 1805 г., написала она, было большое сражение у Славкова. В нем участвовало три императора: русский, французский и австрийский. После битвы они сошлись и заключили мир. Убитых и раненых было очень много. Больше ничего».

Я вспомнил это сочинение, стоя на Праценской {123} вершине через 120 лет после битвы у Славкова. На стенах часовни были надписи о вечной памяти и мире. В Кауницевских хорах, при свечах, писал Наполеон свой приказ: «солдаты — достаточно будет сказать вам «я был у Аустерлица», чтобы услышать: «вот герой». А скоро и имя Аустерлица будет известно только историкам, и вот уже в том самом Брно, где жил два месяца Наполеон, вчера не знали, что Славков — это Аустерлиц.

Память — эта часовня с золотыми буквами на мраморных досках. О душах погибших молятся слова надписей: «упокойтесь дай им, Господи, да светит им вечный свет, и в мире да спят они».

А мир — кругом.

Тишина такая, точно века уж здесь исполинская могила. Над темно-рыжими и бурыми полями встает предвечерний туман. Чернеют перелески — туда, к дороге — по которой тогда возили в Брно раненых.

Направо, у карликовых домиков Працена крестьянин в шляпе пашет землю на откормленных конях. И кроме него — ни души — и тополя при дороге вздрагивают от вечернего ветра.

В комнате у сторожки, где ребенок в красной кофточке играет с черным котом — музей. Здесь пули и гранаты, пушечные ядра — и пуговицы, и зубы, и черепа. Черепов немного. Несколько костей, десяток подков — все, что осталось от 22 братских могил, куда сложили тела друзей и врагов после битвы при Славкове. И русские нательные кресты остались, бедные и богатые, и несколько образков, почерневших от земли и тления. И на кусочке кожи клочок — единственный — каштановых волос. «Больше ничего», как написала маленькая девочка.

А на досках часовни, тем, от кого не осталось и горсти праха — обещают восстание в день гнева, в день {124} суда, когда труба взыграет над кладбищем миллионов. Средневековая латынь просит Бога о прощении, о покое, о сне вечном.

Крестьянин с лошадьми едет домой. По жнивью темнеют комья навоза. Сумерки. Едва слышен легкий шелест мелкого дождя. Туман, как тогда, ползет долиной. Ни огня, ни тени над полосами хлеба, над спящими и темными рощами. Уже не видны придорожные тополя. От дальних холмов движется ночь.

Это и есть поле Аустерлица, поле славы.

Оглавление

Прогулка по Праге	7
Веселая Братислава	36
Словакия	47
Словацкая идиллия	58
Город Белой Дамы	63
Штрбске плесо	74
Замок на Ораве	81
Рождество в Важце	89
Город Яна Жижки	98
Нижнее царство	105
Казематы Шпильберга	110
Поле славы	121